МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ БИОГРАФИИ Н. А. ДОБРОЛЮБОВА

Публикация С. Рейсера

Заканчивая в 1862 г. в «Современнике» первую публикацию материалов для биографии Добролюбова, Чернышевский писал: «Ко всем бывшим товарищам Николая Александровича и к его друзьям, обращаюсь я с просьбой: сообщить мне свои воспоминания о нем и передать мне на время те его письма и бумаги, которые сохранились у них» (1862, № 1, стр. 319).

В ответ на это обращение к Чернышевскому стали стекаться в числе прочего материала воспоминания очевидцев и свидетелей различных моментов жизни Добролюбова.

Повидимому осталось неисполненным намерение Марко Вовчок написать, воспоминания о встречах с Добролюбовым в Италии. (См. Марко Вовчок, Твори. ДВУ. Київ, 1928, т. IV, стр. 424, 461, 596). Об этом нельзя не пожалеть, так как итальянский период жизни Добролюбова известен очень плохо.

Использовать собранные материалы Чернышевский не успел. Работа над биографией Добролюбова прервалась на двадцать слишком лет.

Только в 1887 г. Чернышевский возобновил работу по изданию «Материалов для биографии Добролюбова». Издание должно было состоять из двух томов. Во второй должны быть войти, по плану, воспоминания родных и товарищей Добролюбова. Смерть помешала ему осуществить этот план.

Намеченные для второго тома материалы, пройдя довольно длинный путь (А. Н. Пыпин, Литературный Фонд и т. д.), оказались в конце концов в архиве ИРЛИ и являются предметом настоящей публикации.

Все документы для удобства исследователей публикуются с ссылкой на описание рукописей Добролюбова В. Н. Княжнина. См. «Архив Н. А. Добролюбова», в книге «Временник Пушкинского Дома. 1913», СПБ. 1914. Всюду сокращено. «Княжнин, №...»

I. М. И. ШЕМАНОВСКИЙ

ВОСПОМИНАНИЯ О ЖИЗНИ В ГЛАВНОМ ПЕДАГОГИЧЕСКОМ ИНСТИТУТЕ 1853—1857 ГОДОВ

Во второй половине августа 1853 г. мы были приняты в число студентов Г[лавного] Пед[агогического] Ин[ститу]та. Большинство было из семинарий, которое поступило на филологический факультет, меньшинство из гимназий, которое, за небольшими исключениями, избрало математический факультет. Новобранцы представляли массу столь разнообразную во всех отношениях, что подобного разнообразия едва ли можно встретить теперь где-нибудь в учебном заведении: собранные из разных концов России, каждый носил свой особенный отпечаток местной жизни и местного воспитания, но кроме этого и степени умственного развития были различны. В этой массе были люди, сознававшие—зачем они явились сюда, чего они хотят, но были и дети, которых привлекли сюда Петербург, права Института и проч[ие] внешние приманки образования. Такой массе, разумеется, невоз-

можно было скоро сплотиться в одно тело и, сколько я помню, прошел целый год прежде, чем в ней завязалась своя жизнь.

Прежде всего образовалась партия гимназистов, но образовалась только вследствие враждебных отношений к семинаристам; тут не было кружка в хорошем значении этого слова, а была партия, осмеивавшая неуклюжесть, ненаходчивость и робость семинаристов. Нападения, заключавшиеся в насмешках, бывали часто дерзки, наглы, но отпора с противной стороны почти не было никакого. Вероятно и покойный Н. А. не избег этих нападок злого остроумия, потешающегося над наружностью, но в этот год я едва помню его расхаживавшим с Щегловым; это было время их дружбы, время, о котором покойный говорил мне в 1859 году, что оно дало решительный толчок его умственной жизни. Личность Щеглова, далеко стоявшая выше нас по развитию, играла вначале главную роль в жизни нашего кружка, но впоследствии она оттолкнула многих из нас, по справедливому замечанию Н. А. (в его напечат[анном] дневнике), тем, что все его действия вытекали из е г о личных отношений [1].

Впервые математики сошлись с семинаристами по поводу прошения, поданного студентами Давыдову на инспектора. Мы курили папиросы, выпуская дым в печную трубу; от этого труба была полна окурками. Начальство преследовало курение, потому что о нем в институтских правилах ничего не упоминалось. Однажды инспектор, зайдя в камеру, где жили семинаристы, и, заглянув в трубу, нашел в ней множество окурков. Следствием такой находки было то, что инспектор наговорил много дерзких слов студентам. Гонор гимназистов задет был сильно, и они стали подбивать семинаристов — подать жалобу Давыдову. Жалоба была написана Добролюбовым, принимавшим в этом деле не менее горячее участие, и подана им вместе с другим студентом (математиком) [Тарановским.—*С. Р.*] при полном собрании студентов младшего курса * (тогда в Институте было только два курса—старший и младший, каждый по 2 года). Давыдов принял жалобу, но повел дело своим обычным порядком: уверяя нас п и с ь м е н н о в отеческой любви к нам, он требовал выдачи зачинщиков, грозя в противном случае исключить из Института двоих, подававших прошение, т. е. Добролюбова и Тарановского. Дело продолжалось несколько дней; обещано было прощение и забвение—если сознаются, и кара, ссылка в уездные учителя—в случае упорства. Все это пересыпалось уверениями в непреложной отеческой любви к студентам. Держаться долго было нельзя — Добролюбов и Тарановский выдали себя зачинщиками. После этого произошло небольшое объяснение всего курса с обиженным инспектором, пред которым должны были извиниться обидевшие его студенты — и дело кончилось мирно, — к вящему удовольствию отцов-начальников.

Давыдов был в то время для нас альфой и омегой. Участь каждого зависела вполне и исключительно от него. Профессора не вмешивались во внутреннюю жизнь института, конференция их утверждала всякое желание Давыдова; для него стоило захотеть — и каждый из нас мог очутиться уездным или приходским учителем где-нибудь в Якутской области. Были факты такого директорского всемогущества во времена прежних выпусков, рассказы о которых дошли и до нас. Впрочем Давыдов не скрывал своего могущества и перед нами. Раз профессор франц[узской] словесности пожаловался директору на одного студента, не сделавшего перевода — Давыдов, в присутствии профессора и всех студентов, раскричался на виновного и кончил:

---

* В о т т е к с т п р о ш е н и я:
«Инспектор Института А. Тихомандрицкий, войдя в одну из камер, без всякой видимой и побудительной причины обозвал живущих в ней студентов самыми непристойными словами. Непривыкши под управлением в[ашего] пр[евосходительства] к подобному обращению, мы покорнейше просим обратить на это обстоятельство Ваше внимание».

«если еще будет такая жалоба, я т е б я пошлю туда, куда ворон костей не заносит», сказал и вышел.

Факт подачи студентами жалобы важен в том отношении, что он сгладил сразу разницу между гимназистами и семинаристами; вместе с тем он выдвинул вперед и Добролюбова, которого решимость принять на себя имя з а ч и н щ и к а пред страшным Давыдовым родила во всех к нему искреннее уважение. С тех пор слова прошения «без всякой видимой и побудительной причины» сделались поговоркою между студентами нашего курса, которая прилагалась к месту и не к месту. Жалоба была подана перед рождеством 1854 года. Положено было отпраздновать это событие кутежкой: как было нам не радоваться ему, когда оно было первым заявлением нашего человеческого достоинства перед начальством, которое до этого как бы забывало, что мы, хоть и задавленные бедностью и полною беззащитностью, все-таки же л ю д и, все-таки же м о ж е м оскорбляться бессмысленными упреками нашей бедностью, расточаемыми нам на каждом шагу. Нам постоянно говорили, что мы н и ч т о, что правительство нас облагодетельствовало с ног до головы, приняв нас в Институт, что мы обязаны вечной благодарностью за то, что пустили нас на паркетные полы, дали возможность слушать золотые речи великих ученых, наших профессоров, что конец концов, все эти благодеяния проистекли из необъяснимой отеческой любви к нам нашего ближайшего начальства. В особенности же эти оскорбления сыпались на бедных семинаристов.

Кутнуть согласилось человек 15, да и то с условием строгой тайны. Нанята была уединенная комнатка в уединенном доме (где-то на Большом проспекте Вас[ильевского] Острова), окруженном с трех сторон садом. Закуплено было вино, карты; двое малороссов обещались попотчивать нас малороссийскими варениками. Помню — беседа была самая отвлеченная, говорили преимущественно о начальстве и о профессорах: в первый раз речь наша шла безбоязненно быть услышанной начальством или кем-нибудь близким ему. Пели и песни. Один запел было известный русский гимн, но встретил общее неудовольствие; когда же он, несмотря на то, продолжал петь, то С[идоров] считавшийся до того между нами ярым патриотом, пробавлявшимся на плохих патриотических стихотворениях по поводу Восточной войны, вдруг выдернул шпагу с угрозой заколоть певца и своим дребезжащим голосом стал импровизировать на тот же голос пародию; это возбудило общий смех и рукоплескания — певцы умолкли. В этот вечер Z* [Д. Ф. Щеглов] объявил нам, что автор стихотворения «Н а ю б и л е й Н. И. Г р е ч у», ходившего в то время по Петербургу в многочисленных списках был Добролюбов; что это стихотворение разослано было во все редакции и самому Гречу, который получил его, находясь уже за своим юбилярным обеденным столом, но что все это надобно хранить в тайне, потому что автора разыскивают. Добролюбов, как мне известно, был очень недоволен этой нескромностью. Проведя ночь в тесной комнате, в которой даже не всем достало места для спанья, на другой день мы выпили снова по бокалу какого-то шипучего вина, обещаясь собираться почаще. Тот же Z* [Щеглов] прочел нам стихи Добролюбова по поводу этого вечера. Вот что́ можно было припомнить из этого шуточного стихотворения:

Любовь и братство нас собрали,
Мы вечер дружно провели,
Свободу мы провозглашали
И пели тост крамбамбули.

Тут был степенный Ч[ерняковск]ий
И Добролюбов наш поэт

Женоподобный Ш[емановски]й,
Nommé Marie-Antoinette

Б[уренин], Б[ордюг]ов был с нами,
Противник некоторых мер,
И ярый С[идор]ов с мечтами,
Н-ш Мирабо, наш Робеспьер.

Был Тарановский возмутитель
И предприимчивый Щ[егло]в
Паржницкий — наш распорядитель
С сердитым взглядом [?]ов.

. . . . . .

Еще был с нами Р[адонежск]ий,
Но он был с нами — мы не с ним.
Буй-тур из пущи Беловежской —
Он чужд стремлениям людским.

Простим ему — ведь он художник:
Живет он сердцем, не умом
На деле тоже он безбожник,
Хотя не признается в том.

. . . . . [2]

С этого вечера образовался из небольшого числа студентов нашего курса кружок, в котором читались и переписывались те сочинения, которые трудно было найти в нашей книжной торговле; переводились также некоторые сочинения с иностранных языков на русский. Решено было вносить небольшую плату каждым из нас для приобретения редких книг (преимущественно Герцена), на выписку русских журналов и газет [3]. Всем этим главным образом руководил Добролюбов. Мы собирались иногда у наших бывших институтских товарищей, вышедших из института (Паржницкого и Сидорова) или у знакомых студентов Петербургского Университета (Кельсиева [4] и др.) и Медицинской Академии. Вино и карты были совершенно изгнаны из этих собраний, время проходило в разговорах и спорах. В спорах Добролюбов отличался серьезностью и уважением к противнику; как бы ни был упорен его противник, никогда он не позволял себе ни одной насмешки над ним, не преследовал его иронией — как это бывало с другими спорщиками, но брался за предмет спора с существенной, серьезной стороны и рядом силлогизмов заставлял противника соглашаться со своим взглядом. Люди диаметрально-противоположных взглядов с Добролюбовым, после спора с ним, выносили искреннее к нему уважение, если даже они не соглашались с ним, боясь его смелых выводов; многие из студентов, которых он не любил, любили и уважали его и это чувство в них сохранилось и после выхода из Института. Его чистая, возвышенная натура не могла дойти до неуважения к человеческой личности, как бы безотрадно ни было ее состояние: я могу привести примеры, где он трудился над такими субъектами, над которыми труд был почти напрасен. Всякий, соприкасавшийся с ним, чувствовал то освежающее действие, ту пробудившуюся любовь к честному и скромному труду, то довольство собой, которое заставляло смотреть на мир светлыми глазами, побуждало действовать, а не терять времени в напрасных сетованиях и бесполезном отчаянии. Письма его производили то же действие. Таковы были его частные отношения к людям, по крайней мере к тем, которых я знаю.

Другим характером отличались его отношения к людям, имевшим то или другое общественное положение—этот характер хорошо известен из

его печатных статей и в этом случае он не противоречил себе. Дело общее— выше всего: в этом случае он не щадил никого, не останавливался ни перед чем, что, по его мнению, могло препятствовать общественному развитию. «Надобно сбрасывать авторитеты, карать низость публично — иначе мы будем двигаться по-лягушачьи или еще хуже, стоять на одном месте, воображая, что идем вперед», говорил он мне три года тому назад. «Нужно наше общество будить, будить и будить — вот дело нашего поколения», продолжал

Н. А. ДОБРОЛЮБОВ С ОТЦОМ
Дагеротип 1854 г.
Институт Литературы, Ленинград

он. «Нелепо объяснять мои нападки на авторитеты завистью или недоброжелательством; сами по себе, за свои прежние услуги, они стоят уважения, но если их притязания идут до того, что они хотят стоять впереди даже тогда, когда уже вышли из сил и для этой самолюбивой личной цели стараются задержать общее движение — то как же не ругать и не бить их?» отвечал он мне на мое замечание, что его нападки объясняются завистью и недоброжелательством. А за три месяца до своей смерти он с досадой говорил, что те из его статей читаются, где есть подпись, а там где нет ее — часто даже

и не прочитываются; когда же я представил ему тот резон, что отчего же не пользоваться этим обстоятельством, своей авторитетностью, если она может привлечь большее число читателей, а следовательно и большее число последователей его идей, то он отвечал: «хороши последователи, для которых важно имя, а не самая идея». В деле общем он никогда не задумывался насчет выбора дороги, а шел прямо, открыто, честно; выжидать удобной минуты, действовать медленно и осторожно — не было в его характере; мысль об опасностях, о возможности испортить свою карьеру не приходила, кажется, ему и в голову, когда он был еще студентом; здесь он опасался больше всего за других, чем за себя и в этих опасениях было что-то дружеское, родственное, братское. «Я никогда себе не прощу, если ты попадешься», часто можно было слышать при замысле какой-нибудь выходки против институтского начальства, выходки самой по себе пустой, но в глазах начальства имевшей всегда вид демонстрации, посягания на его достоинство. Вот один из этих случаев.

Кормили в Институте дурно; начальство объясняло нам (когда уже оно было в сильном разладе со студентами), что на содержание отпускается очень мало, и оно действительно хлопотало в то время о прибавке каких-то копеек на студенческий стол. Но студентам казалось, что и при этих средствах можно обойтись, например, без тухлой говядины, без затхлой крупы и проч.; поэтому недовольство столом не уменьшалось, а увеличивалось. В 1856 или 1857 году, на 4-м уже курсе, по поводу одной выходки Давыдова, оскорбившей двух студентов, решено было для отмщения затеять решительную борьбу за стол. Добр[олюбов] написал прошение, в котором от имени студентов целого курса, объяснив весьма скромно причины дурного стола, просилось [sic!—*С. Р.*]: 1) дать полные права дежурному на кухне студенту браковать дурные [блюда или припасы] и принимать хорошие с личною ответственностью, как перед начальством, так и перед своими товарищами, 2) для последней цели завести столовую книгу, в которой дежурный записывал бы — довольны или недовольны были студенты обедом. Прошение было написано и одобрено горячо почти всеми. Но кто подаст его? Тут пошли споры, упреки; говорили, напр., что я уже замечен несколько раз и проч. в этом роде. Добр[олюбов] вызвался с самого начала споров, но студенты его отговаривали, потому что для него это представляло действительную опасность после бывших перед этим стычек с Давыдовым.

В это время кто-то принес известие, что Давыдова нет в Институте,— он куда-то уехал. Решили воспользоваться этим случаем и послали одного студента в институтское правление подать прошение советнику правления (прошение адресовано было на имя директора в правление Института) с тем, чтоб он его пометил и передал директору по его приезде. Но маскировка подачи была дурно придумана: лицо, подававшее прошение, нисколько не избежало неприятных объяснений с Давыдовым, потому что студенты были известны в правлении. В то время, как все с восторгом ухватились за эту мысль, Добролюбов, по обыкновению, молчал. Студент, возвратившись, объявил, что советник отказался пометить прошение. Вскоре приехал Давыдов и отправился прямо в правление; явился и посланный от советника, возвестивший, что теперь-де пожалуйте подать прошение. Произошло новое колебание; Добролюбов не вытерпел, взял прошение и подал. Долго мы ждали его возвращения. Наконец возвратился он бледный, с сжатыми губами и через час отправился к Вяземскому, бывшему товарищу министра. Ему он подал прошение о выпуске его в младшие учителя гимназии; Вяземскому, бывшему товарищу министра стоило больших трудов уговорить его: кажется, его он взял только тем, что отказался принять прошение [5]. И никогда ни одного упрека в трусости, в себялюбии не срывалось с его языка

его товарищам, а ведь подобный упрек был бы так справедлив, так естествен... Напротив, в делах такого рода, если только они обеспечены общим желанием, в нем являлась решимость, стремительность действий, готовность итти вперед даже и тогда, когда толпа смешалась при виде предстоящей опасности и готова уже отступить назад. Так целен, так верен с самим собой был этот человек.

Собрания чаще всего были у Сидорова, после перехода его из Института в Петербургский Университет. Фантазер от природы, он не обладал глубоким анализирующим умом и горячим сочувствующим сердцем. Он легко увлекался разными теориями общественного устройства, но увлекался пассивно, вполовину понимая их. При сильно развитой фантазии, он был при этом крайне самолюбив, воображая себя призванным совершить великий переворот или в жизни, или в науке; он прямо говорил, что он великий человек, что он почувствовал свое призвание, бывши еще мальчиком в Томске, что для совершения неизвестного еще ему подвига он пришел в Петербург чуть не пешком, бросив свою семью и блестящую карьеру, которая там открывалась перед ним. Он был чуть не старше всех нас; по крайней мере при вступлении в Институт его за лета отказались принять в студенты и он должен был просить о включении себя в студенты самого министра. Приучивши себя к восторженному состоянию, он тяготился нормальным своим состоянием и искал малейших поводов восторгаться. До описанного мною вечера он еще не занимался социальными вопросами и пробавлялся на патриотических стихотворениях Восточной войны. Декламируя какое-нибудь глупое стихотворение, он наливался кровью, производил страшные угрожающие жесты и разъяренно кидался на того, кто не в состоянии был удержаться от улыбки. Мы прозвали его ярым. Переход от поклонения абсолютизму к крайнему социализму произошел в нем очень быстро, чуть ли не в самый тот вечер, когда он со шпагой в руке заставил молчать певца, певшего «Боже царя храни». Такие резкие переходы в фантазерах, впрочем, очень естественны — увлекаемые какой-нибудь новой для них идеей, они резко отступают от прежней своей проповеди, часто даже сами не замечая своего отступления; в их голове легко мирятся и самые резкие крайности. Выйдя из Института, он вполне уже увлекся социальными идеями — писал планы, уставы обществ для того времени, когда род человеческий размножится до того, что земли окажется мало для пропитания населения земного шара, и ничего не делал ни в Университете, ни для добывания себе средств жизни. Конечно, он задолжал, и часть денег, собравшихся на приобретение книг, пошла ему. Я упоминаю об этом обстоятельстве потому, что эта мысль принадлежала Добролюбову. Денег, вообще, собралось не много, и я наверное знаю, что излишек расхода покрывался им из своего кармана. Это вспоможение делалось не раз С[идоро]ву и Паржницкому, когда последний был сослан фельдшером в военный госпиталь в Куопио (в Финляндии). Сидорову прекратилось оно по след[ующему] обстоятельству. В те дома, где он давал частные уроки, были вхожи некоторые из нас; в некоторые он даже был рекомендован Добролюбовым или другими. Не являясь по нескольким неделям на уроки, он возбудил неудовольствие в родителях, о чем последние и заявляли рекомендовавшим его студентам. Но на все советы и уговоры не манкировать уроками, он отвечал двумя-тремя восторженными фразами и продолжал манкировать; кончилось тем, что ему отказали от уроков и он остался без всяких средств... Тогда-то он написал длинное-предлинное послание к нам, требуя от нас определенного себе содержания, и отказывался при этом от всякой черной работы (так он называл частные уроки), как несогласной с его высшим назначением. Это письмо привело в негодование всех, потому что никто не отзывался с таким презрением о труде, как это высказано было в его послании. Ему решительно

было отказано. Отказ писал Добролюбов; Сидоров приписывал отказ ему одному или его влиянию, с тех пор отзывался о нем дурно, хватаясь за всякий несколько сомнительный его поступок, чтоб обвинить его в лицемерии и т. п. Эта дурная черта нашего Робеспьера осталась в нем до самой смерти Добролюбова [6]. Он обвинял Добролюбова в служении видам правительства; впрочем при почитателях Добролюбова он облегчал его вину тем, что он подчинился Чернышевскому и Некрасову и отказался ради этих богов от самого себя.

Я встречался с ним в Москве года через 4 после выхода моего из Института. Эти четыре года для меня не прошли бесследно: тяжелые столкновения с жизнью взрастили меня, разъяснили и укрепили многое, что принималось на слово, входило в убеждение сердцем, не умом. Но он оставался тем же юным мечтателем: та же восторженность при всяком удобном случае, та же способность наливаться кровью, та же уверенность в великости своего назначения. Социальные вопросы он уже бросил и если случалось говорить о них, то отзывался равнодушно. Все это время он занимался математикой, говорил, что жизнь невозможна без высшей математики, что без нее нельзя быть ни умным администратором, ни глубоким философом, ни законодателем, короче ничем. Он прочел множество математических сочинений и думал произвести переворот в этой науке, ругал беспощадно всех живших математиков и увлекался Вроньским. Он порывался составить математическое общество и издавать журнал, но ничего ему не удалось [7].

Неудачи и бедность, в которой он проводил жизнь не изменили его; только воображение рисовало ему, что он окружен тайными врагами, шпионами русского правительства, умеющего чутьем отыскивать гениальные натуры и задавляющего их лишением всяких средств существования. Его фантазия довела его до мистицизма, он признавал бога, допускал демонические силы. На третий день после появления в газетах известия о смерти Добролюбова, мы получили от него записку, в которой он предлагал отслужить панихиду об усопшем товарище; а на другой день после записки явился и сам с этим предложением. Тяжесть потери чувствовалась горькою болью в сердце; все хорошие стремления сердца замолкли, образ покойного носился пред глазами; казалось, что и сам умер или что чередь за тобой, и при виде Сидорова, предлагающего панихиду, не явилось даже и негодования.

Не знаю, доживет ли Сидоров до подвига, на который родила его судьба. Он действительно назначен совершить подвиг и может быть не один. Это человек, которого сила в минуте, в момент общей нерешимости. Битва идет, победа колеблется, перевес то на одной, то на другой стороне... Но вот смятение, одна сторона начинает торжествовать, противная готова уже бросить оружие и бежать. Вдруг среди смятенной толпы является человек, с всклокоченными волосами, с кровяными глазами, с кинжалом, которым он потрясает в воздухе; презрительно окидывает он быстрым взглядом бегущих. «Трусы,— кричит он им — куда бежите, подлые! Назад! С нами бог, за нами правое дело! Умрем же или победим!» и первый кидается на торжествующего врага и еще, пожалуй, с какой-нибудь песнью. Толпа за ним— и победа наша. Да, вот его настоящая арена подвигов, а не в жизни и в науке.

Чтоб кончить с этой личностью, я опишу один вечер, бывший у него. Собрались почти мы все. Кроме студентов нашего института были еще двое Петерб[ургского] Университета. Сидоров встречал каждого и таинственно пожимал руку. Наговорившись досыта на свободе, мы уже собирались расходиться, как хозяин попросил подождать несколько минут. Он вынул тетрадь, из которой прочел что-то такое, из которого можно было понять, что ему было какое-то откровение свыше. Затем он объявил, что нужно составить

тайное общество, под именем литературного, чтоб скрыть настоящую его цель от правительства. Затем следовало чтение тайного устава общества — в этом уставе было много параграфов, но ни один из них не носил того опасного характера, которого страшится правительство: цель была благотворительность, только в обширном и гуманном значении этого слова. Чтение кончилось, автор ждал ответа, но каждый почему-то удерживался сказать первым. Я, чтоб прервать молчание, сделал замечание, что действия, требуемые уставом такого рода, что каждый из нас может совершенно свободно и явно производить их, что я не понимаю, какая цель давать этим действиям форму, столь опасную, как тайное общество. «Цель, закричал автор, тебе нужна все ц е л ь, m e t a — а без цели ты и шагу не хочешь сделать. Так я тебе скажу, где цель: цель впереди, пока мы еще не можем видеть ее ясно, а придет время — увидим!» Произошел спор; все находили, что бесполезно подвергать себя явной опасности из одного названия и требовали от него цели. Автор в ответ говорил о своем призвании, о тайных голосах, слышимых им и проч. и проч. Конечно, все это кончилось шутками и смехом, в котором автор, погорячившись вначале, и сам принял участие.

Еще раньше выхода Сидорова, вышел из Института Паржницкий: этот человек один из замечательнейших нашего кружка и о нем стоит сказать несколько теплых слов. Сын бедных униатских родителей, он еще в детстве, когда был гимназистом, испытал на себе насилие русского правительства в деле веры. Мальчиком он долго скрывал свою веру от гимназического начальства, выдавая себя за католика, но был выдан своим родным братом, который был далеко моложе его и предательство такое сделал, разумеется, по детской необдуманности. Я не знаю подробно этой истории, но насильственное обращение мальчика в православие сообщило его характеру особенный цвет. Он никогда не был вполне откровенен ни с кем из своих товарищей, отзывался о православии с едкими насмешками и ругал попов; его оскорбленное в детстве человеческое достоинство родило в нем какое-то презрение к великорусскому племени, он искал польского общества, его симпатии были к Польше, отчасти к Малороссии и нисколько не к России; он себя считал поляком. По окончании гимназического курса он поступил в Одесский Лицей, но чрез год перешел в Петербургский Университет. Пробыв здесь года $1\frac{1}{2}$ он, за неимением средств к жизни, стал хлопотать о приеме в Институт. Отзывы петербургских профессоров о нем были очень рекомендательны, притом он говорил на 4-х языках, а это было достаточно для Давыдова, чтоб хлопотать о нем — он был принят, когда мы были на 2-м курсе. Я помню его хорошо: он сидел в камере рядом со мной, постоянно занимался математикой, писал по этому предмету сочинения и чувствовал непреодолимое отвращение к богословиям разного рода и поповским логикам и психологиям. На репетициях не раз мне случалось отвечать попу за него, так как поп не знал многих из нас в лицо. Он подсмеивался над моими усердными занятиями к поповским репетициям, звал меня за мою способность заучивать слово-в-слово безобразные поповские лекции — зубрилкой, попкой и другими милыми названиями. Сам же поповские лекции проводил или в занятиях дифференциальным и интегральным исчислением, или — в сне — для чего как-то особенно ловко подстраивался под столом. В первое время своей институтской жизни он не сближался с студентами; его отношения в эти месяцы с Давыдовым были хороши и можно было заметить, что он и сам старался поддержать эти отношения, несмотря на отвращение, какое он чувствовал к связанной жизни студентов: я помню хорошо, что он восставал против подачи прошения на инспектора, называл Давыдова человеком умным, единственным во всем Институте, что все остальные — дураки, шваль, дрянь. Но сколько ни ломай себя, сколько ни

прикидывайся, а придет минута и человек вдруг, ни с того ни с сего да и выскажется весь, каким он действительно есть. Так было с Паржницким. Вооружаясь против подачи прошения, он уже был на нашей стороне, когда прошение было подано и был распорядителем пирушки, устроенной по этому поводу. После этого вечера у него начались столкновения с надзирателями, а потом и с Давыдовым. Поводы к столкновениям были самые ничтожные.

Чтоб дать понятие о них, я приведу один случай.

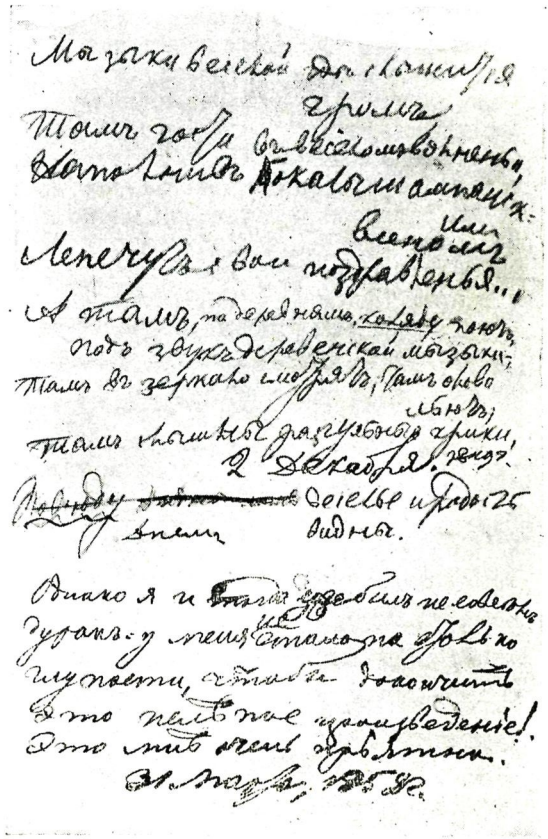
Паржницкий любил при перемене белья выпускать воротнички чистой рубашки сверх галстука; начальству это не нравилось, как не нравились расстегнутые сюртуки и прочие нарушения солдатской дисциплины, введенной во времена Николая во все гражданские учебные заведения. За ужином, когда за нашим столом велась громкая веселая беседа (что было также нарушением институтского правила, по которому студенты должны были за столом говорить только о предметах своих лекций «со скромностью, отличающею благовоспитанных людей»), чахоточный немец-надзиратель Людвиг долго ходил около нашего стола в нерешимости выбрать средство остановить хохот и громкие крики разговаривающих. Мы заметили его нерешимость и продолжали раздражать его чахоточную натуру. Но немец скоро нашелся. Подойдя к П[аржницкому], он молча указал на выпущенные воротнички и спросил: зачем это? П[аржницкий] отвечал, смеясь: за тем, за чем и у вас и при этом указал немцу на его сильно накрахмаленные воротники. Немец страшно оскорбился таким дерзким ответом, нажаловался Давыдову; этот потребовал для объяснения П[аржницкого] в конференцию пред портрет императора и призвал для пущей важности пришедших для лекции профессоров. П[аржницкий] объяснялся дерзко с Давыдовым. Остроградский, присутствовавший при этом объяснении, на лекции говорил нам: как можно так говорить директору. Оставаться в И[нституте] П[аржницко]му было нельзя: честолюбивый до мозга костей Давыдов не мог оставить без наказания дерзкий ответ ему в конференции в присутствии профессоров. Время, когда Давыдов имел полную возможность отмстить — экзамены, — было на носу.

На экзаменах Давыдов был полновластным господином; он ставил баллы по своему личному усмотрению; профессора, за исключением 2—3, ему не противоречили. Случалось, что на экзаменах студент отвечал на попавшийся ему билет безукоризненно; профессор ставил ему в своем списке 5 баллов, а студенту объявлялся в присутствии самого профессора балл, далеко меньший. В 1854 году на экзамене из русск[ой] словесности из 1-го курса во 2-ой товарищ наш Захаров, студент математич[еского] факультета, отвечал на свой билет и на многие вопросы сверх билета прекрасно. Давыдов, имевший причины быть им недовольным, хотел показать над ним свое всемогущество. Основываясь на том, что Захаров не ответил на один или два вопроса, предложенные им, он поставил ему 1; а этот балл равнялся выходу в уездные учителя. Давыдов хотел показать только свою силу, так сказать пошутить и назначил переэкзаменовку Захарову. Но Захаров, оскорбленный произволом, отказался от переэкзаменовки, несмотря на увещания инспектора и профессора словесности. Он был послан уездным учителем в Гдов Петерб. губ. и чрез год или два, кажется, спился и умер. А на математическом факультете он был одним из лучших студентов.

Паржницкий хорошо понимал, что оставаться в Институте ему опасно, чрез месяц или два он рисковал быть где-нибудь в Якутской области уездным или приходским учителем. Но как выйти из Института? Была одна возможность — заплатить по 150 рублей за каждый год институтской жизни, но и это соединялось с большими хлопотами и трудностями, а для него эта возможность была невозможна по причине его бедности. Он выбрал дорогу более короткую, хотя и очень опасную. В это время старый импе-

ратор умер, на престоле сидел новый. Каждый день приносил какой-нибудь приказ, свидетельствовавший о человечности нового императора: положение Александра в императорстве было ново для него самого. Испытавши сам на себе грубые лапы самодурства в лице своего родителя, Александр не вдруг взошел в роль императора: рассказы, ходившие тогда о нем по Петербургу, свидетельствовали о том. П[аржницкий] решился обратиться к нему. Он подал ему прошение, в котором объяснил, что, не имея расположения быть учителем, он просит перевести его в студенты Медико-хирургической Академии. Император принял прошение и говорил с П[аржницким] несколько минут, расспрашивая его об Институте; прошение подано было на набережной во время прогулки императора. Петербургская полиция, следящая за каждым шагом императора, немедленно донесла м[ини]стру нар[одного] пр[освещения] и Давыдову о том, что император разговаривал со студентом Педагог[ического] Института.

Давыдов всполошился — он боялся чтоб П[аржницкий] что-нибудь не проболтал императору о нем и об Институте; призывал по нескольку раз к себе, заставлял его каждый раз рассказывать все, в подробности, о своей встрече с императором, о том, какой рукой император взял прошение и пр. Но П[аржницкий] был осторожен; он всякий раз переиначивал свой рассказ, придумывал небывальщины и потом отказывался от них и этим держал Давыдова в состоянии беспокойства и нерешимости. Эта умная тактика с Давыдовым спасла П[аржницкого]. Чрез несколько дней, когда министр потребовал от Давыдова аттестации П[аржницкого], он аттестовал его, как первого студента по успехам и нравственности. П[аржницкий] по высочайшему повелению был переведен из Института в Академию н е в п р и м е р



ЮНОШЕСКОЕ СТИХОТВОРЕНИЕ
Н. А. ДОБРОЛЮБОВА

Институт Литературы, Ленинград

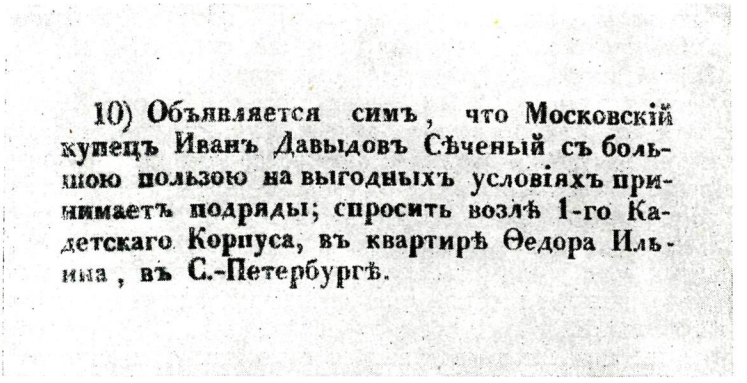
другим. Тогда-то П[аржницкий], скрывавший и от нас свое дело, рассказал нам все подробно, смеясь от души над Давыдовым, над его страхом, который помог ему оставить его в дураках. Это вероятно дошло до Давыдова, а может быть он и сам собой догадался, что во все это время был в руках студента — мальчишки. Чтоб поправить дело Давыдов послал секретное отношение к начальству Медицинской Академии, в котором предостерегал его от П[аржницкого], объясняя, что в Институте П[аржницкий] отличался развращенною нравственностью и портил других студентов. Этот конфиденциальный донос Давыдова принес П[аржницкому] один из офицеров, служащих при Академии, и дал ему прочесть.

Есть натуры, для которых введение социальных идей в жизнь составляет как бы — цель их собственной жизни. В какое бы положенье они не были поставлены, как бы ни старались они себя уединить, отдернуть от этого стремления их природы занятиями по части наук не социальных, но природа берет свое; покрепятся, покрепятся, да и прорвутся, и прорвутся страшно, начисто. Куда бы судьба их ни забросила, везде они сумеют найти людей, пробудить и в них эти идеи, сумеют составить без всякого намерения, с своей стороны почти бессознательно, из них общество с определенным социальным взглядом. И где бы ни появились эти люди, окружающая их среда, как бы груба она ни была, сама собою начинает изменяться, очищаться — это та едва заметная органическая клеточка дрожжей, которая может привести одним своим присутствием в брожение невообразимые массы хлебного затора и обратить его в спирт. Люди эти — предтечи будущего социального устройства, будущего, но недалекого, близкого. Старый, дряхлый организм общественного устройства сам родит их из себя, воспитывает в них свою смерть и свое возрождение в обновленном виде. Такой органической клеточкой был П[аржницкий]. Он не занимался отвлеченными социальными вопросами, часто даже смеялся над занимающимися ими, но если жизнь представляла ему практически решить вопрос, в своем решении, в своих действиях он высказывался социалистом. Это был человек практического дела, боец жизни, презиравший всякое бесплодное словопрение. Он был совершенною противоположностью с Сидоровым: ни капли восторженности, ни капли честолюбия. С этой стороны он схож был с Добролюбовым.

В Медицинской Академии он не пробыл и года. Там началось брожение и клеточкой был П[аржницкий]. Начальство Академии страшно обкрадывало студентов, студенты кутили, бранили втихомолку начальство и ничего не делали. П[аржницкий] в несколько месяцев соединил, сплотил их, довел до той точки, за которой начинается дело. В несколько сходок студенты решились подать жалобу на свое начальство императору и главным депутатом был выбран П[аржницкий] (всех же их было четверо—кроме П[аржницкого], были Михайловский, Щеглов и Алексеев). Император принял жалобу, назначил своего флигель-адъютанта Эльстона следователем. Следователь по русскому обычаю начал следствие тем, что засадил депутатов в ордонанс-гауз. По следствию, произведенному в Академии, оказалось действительное воровство, но вести дело честно не в духе русского правительства. По его принципам подчиненный не должен жаловаться на начальство, каково бы оно ни было; нужно было наказать студентов, но как, за что? При допросах, продолжавшихся больше двух недель, заключенных депутатов старались всеми подлыми мерами сбить, спутать в показаниях, но, не успевши в этом, их обвинили, кажется, в том, что они, вопреки русским постановлениям, при подаче жалобы обошли несколько начальственных ступеней. Депутатов принудили сослать фельдшерами по разным госпиталям. Остальные студенты Медицинской Академии ничего не могли сделать для спасения своих депутатов; им только было обещано лейб-медиком Енохиным напомнить императору во время коронации его о четырех фельдшерах-студентах. Это было

в 1855 году во время Восточной войны. На проводы сосланных явилось много студентов Академии и некоторые Института. Все были веселы, даже разжалованные нисколько не были опечалены. Они уже одеты были в новых своих костюмах, серых солдатских шинелях и провожатый жандарм был тут же в студенческой компании. Настал и час разлуки, и в этот час также не было ни слез, ни упреков судьбе или чего-нибудь в этом роде, исключая впрочем одного студента, о чем свидетельство — приведенное ниже письмо — обнимались, целовались, обещались не забывать друг друга и только, как всегда бывает и в обыкновенной разлуке. Осужденные отправились; многие из студентов провожали их до самой заставы.

П[аржницкий] назначен был в военный госпиталь сначала в Тавастгус, а потом переведен в Куопио, в Финляндии. В его письмах к Добролюбову высказывался все тот же социалист — всего меньше писал он о своем бедственном положении, и всего больше о грубом обхождении русских офицеров с солдатами, о больнице, переполненной больными и ранеными



10) Объявляется симъ, что Московскій купецъ Иванъ Давыдовъ Сѣченый съ большою пользою на выгодныхъ условіяхъ принимаетъ подряды; спросить возлѣ 1-го Кадетскаго Корпуса, въ квартирѣ Ѳедора Ильина, въ С.-Петербургѣ.

ОБЪЯВЛЕНИЕ, НАПЕЧАТАННОЕ Н. А. ДОБРОЛЮБОВЫМ В «МОСКОВСКИХ ВЕДОМОСТЯХ, 1856 г., 15 СЕНТЯБРЯ, № 111, В КОТОРОМ ВЫСМЕИВАЕТСЯ ДИРЕКТОР ГЛАВНОГО ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ИНСТИТУТА И. И. ДАВЫДОВ

Публичная Библиотека, Ленинград

солдатами, которых и обкрадывали и морили и для которых он, как фельдшер, ничего не мог сделать. О своих материальных нуждах он почти ничего не писал и Добролюбов должен был узнать об этом от его брата — студента Медиц[инской] Акад[емии], с которым П[аржницкий] был более откровенен в этом отношении. Ему высылали небольшие суммы денег, но никогда не просил он от нас этой помощи; даже в самые трудные минуты своего фельдшерства он не делал и намека о том, что нуждается в деньгах [8].

Во время коронования императора в 1856 году Енохин сдержал свое слово: фельдшера были прощены и назначены были студентами в Казанский и Харьковский университеты. Финляндские фельдшера пред отъездом в Казань воротились в Петербург увидеться с товарищами. Я помню эту тесную комнатку на Выборгской стороне, куда мы стеклись, чтоб обнять своего товарища. Он был еще в солдатском костюме, с загорелым и несколько загрубелым лицом, но выражение его лица было полно жизни — казалось сформировало его окончательно, поставило его на прямую дорогу. Я не желал бы, чтоб в этих словах было прочтено какое-нибудь сентиментальное ложное чувство к товарищу, чувство, явившееся вследствие того, что между встречей и воспоминателем лежит несколько лет. Мы искренно радовались его возвращению и также искренно по-братски обнимали и целовали его. Не знаю, сохранилось ли в нем это теплое чувство к прежним нашим отноше-

ниям, но мы часто вспоминали о нем. Обстоятельства жизни разрознили нас, разорвали эту товарищескую сеть, поселили в П[аржницком] недоверие к нам, но вспоминая его, ни во мне, ни в покойном Добролюбове никогда не являлось сомнения в его прямой и честной натуре.

П[аржницкий] уехал в Казань. Его первые письма оттуда были наполнены горькими сетованиями на казанских студентов...

Наука мало занимала казанских студентов, вопросы общественные еще меньше. Я, разумеется, говорю о массе, о большинстве, которое дает характер целой корпорации: я не знаю, нужно ли прибавлять, что в этой массе было всегда несколько личностей, считавших науку святою и посвящавших ей все свое время; мое искреннее уважение навсегда останется к некоторым из вышедших в те времена из Казанского Университета, но я узнал их далеко после, бывши учителем в Вятской гимназии. В этом состоянии казанских студентов, разумеется, виноваты профессора, державшиеся относительно их начальниками и третировавшие их, как мальчишек.— Но чрез несколько месяцев П[аржницкий] писал о казанских студентах уже другое — он говорил, что и между ними есть люди, что и из казанских студентов можно кое-что сделать. Действительно, вскоре казанские студенты выгнали из Университета ненавидимого ими инспектора [И. И.] Ланге, обругали [В. П.] Молоствова, попечителя, заставили утвердить инспектором выбранного ими адъюнкта [Э. П.] Янишевского. События в Казанском Университете следовали быстро друг за другом. Студенты потребовали от профессоров изложения науки в современном ее состоянии, повыгоняли старых лентяев и проч. И теперь еще идет эта борьба нового поколения со старым порядком. П[аржницкий] во всех этих делах вел себя очень осторожно, и? начальству не трудно было пронюхать, откуда пошли все эти беспорядки. Не имея явных улик [Ф. Ф.] Веселаго, бывший помощником попечителя [Е. М.] Грубера, пользуясь одной статьей наших законов, исключил П[аржницкого] из Университета без объяснения причины... П[аржницкий] приехал в Петербург; пытался было поступить в свою старую знакомую Медицинскую Академию, но, разумеется — его попытка была напрасна. Он остался решительно без всяких средств продолжать свое образование, а между тем желание было сильно. В 1859 году я был у него вместе с Добролюбовым. Это было то время, когда между им и партией добролюбовской пробежала черная кошка. Мы зашли к нему, чтоб почтить этим посещением наши прежние отношения: свидание было холодно, натянуто. Он занимался в то время усердно переводом фармакологии. Мы расстались и с тех пор не виделись; ни Добролюбов, ни другие товарищи не знали, что с ним сделалось. Летом 1861 года бывши в Оренб[ургской] губернии я встретил там уездного врача, бывшего студента Медицинской Академии, поляка; он с год как кончил курс. Разговорившись о прошлом, мы дошли до П[аржницкого] и я от него узнал, что П[аржницкий] продал свой перевод фармакологии одному из профессоров Медиц[инской] Академии и на вырученные деньги уехал за границу и поступил в Берлинский Университет *.

Как важен в деле нравственного пробуждения первый толчок — это видно на казанских студентах. Из нескольких слов, сказанных мною выше, читатель может составить себе тип казанского студента прежнего времени: это тип широкого русского разгула, беззаботного и не ставящего себе границ. Я имел случай познакомиться с духом нынешних казанских студентов. Те же юные силы видим в них, направлены они уже в другую сторону. Устройство студенческой кассы для бедных студентов, общих библиотек, товарищеского суда и проч. — указывают, что новая жизнь уже началась и принимает определенные формы. Сочувствие их к общественным интере-

* Его перевод Целлюлярная Патология Вирхова издан. Медицинским Департаментом.

сам высказывается иногда и на деле. При первых известиях о жестокости гр. Апраксина с крепостными людьми, в Бездне, трое студентов в тот же день тайком отправились на место побоища, чтоб собрать на месте верные сведения: Апраксин успел схватить их и выслал в Казань по этапу [10].

Оканчивая очерк личности П[аржницкого], я позволю себе привести здесь копию с сохранившегося его письма к нам в то время, когда он ехал в Тавастгус. Из этого письма хорошо выглядывает его деятельная натура. Вот оно.

«Прощайте, любезные математика и филология, может быть долго не увидимся. Как досадно, что после бурного вечера * не удалось мне видеть вас, а поговорить нам нужно было много. Да и в какое время должны мы были расстаться — когда надежды мои и, разумеется, ваши почти исполнились! Я желал с вами добра и истины и если мы не успели еще доселе ничего сделать, то все-таки вина не наша, а наши плохие обстоятельства, которыми владеть мы не привыкли, не умеем встать выше их — самопожертвование приходит не вдруг в душу и достигает до нее только постепенно. Впрочем н а ш е впереди, лишь бы только не увлечься нам общею болезнью нашего века — стремлением к комфорту. Извините меня за этот намек, но б о л ь н о й н а ш ** служит нам уроком.—Говоря о нашем последнем свидании, я не могу удержаться, не сказавши о разногласии с NN [Щегловым. *С. Р.*]. Мне кажется, что его надо приписать горячности и потому от души прощаю и мирюсь; желаю, чтоб и впредь подобного не было. Мы должны устранять, а не вызывать несогласия. Отнекиваться непониманием цели, о которой думать мог и должен был целый год, значит признаться пред всеми или в неспособности понимать ее, или в привычке действовать по подражанию как обезьяна в басне Крылова. Но ведь он не таков, он сделал это по горячности, а предполагать, будто он не знал цели, я считаю нелепым и глупым. Повторяю, что мирюсь с ним и вас прошу забыть это и не допускать больше подобных сцен. Впрочем моя просьба кажется лишняя, вы давно ему простили и, как я слышал, вините меня, чему я не верю, очень хорошо зная, что логика отца Солярского на ваш ум, как и на мой, не имела действия — куда как убедительна она! [11]

Моя поездка в Гельсингфорс очень по душе мне: она согласна с моей страстью волочиться по белу свету. Жалею только, что не удалось стереть главу змия; дева Мария была счастливее меня, и отчего? Не понимаю. Разгадайте-ка вы эту тайну.

Обратите внимание и постарайтесь сблизиться с Л. 2-го курса; через вас я нарочно шлю к нему записку [12]. Есть еще у меня личностей восемь на примете, да за тех примусь я по моем возвращении из Патмоса, где не был ни один из апостолов. Поцалуйте от меня Я[нковского?—*С. Р.*]: я напишу ему с дороги. За неграмотность и нечеткость простите — и то тайком пишу. Прощайте и примите дружеское пожатие руки вашего Игнатия.

В моем заключении *** встретил я целую стаю людей иль лучше сказать ч и н о в различных совестей, но я не стану делить их на три лика, как отец Антоний делит ангелов, а на множество весьма грозных оттенков, о которых *напишу, когда будет свободно. — Сидоров прощай и помирись с N [Щегловым. — С. Р.]*; прощайте, сердитый друг и мой и человечества.

Упоминаемый в этом письме N есть Д. Щеглов. Человек этот по своей опытности в жизни, по большому развитию ума, по смелости взгляда, мог бы

---

* Прощальный вечер.

** Студент Тарановский, вскоре умерший чахоткой. При последних часах жизни он два раза прогонял попа, желавшего его причастить. В третий раз, когда он от слабости не мог двигаться и говорить — попу удалось снять с него глухую исповедь и причастить. Слова Паржницкого о нем относятся к его страстишке франтить, на что он терял много времени.

*** Должно быть, в ордонансгаузе.

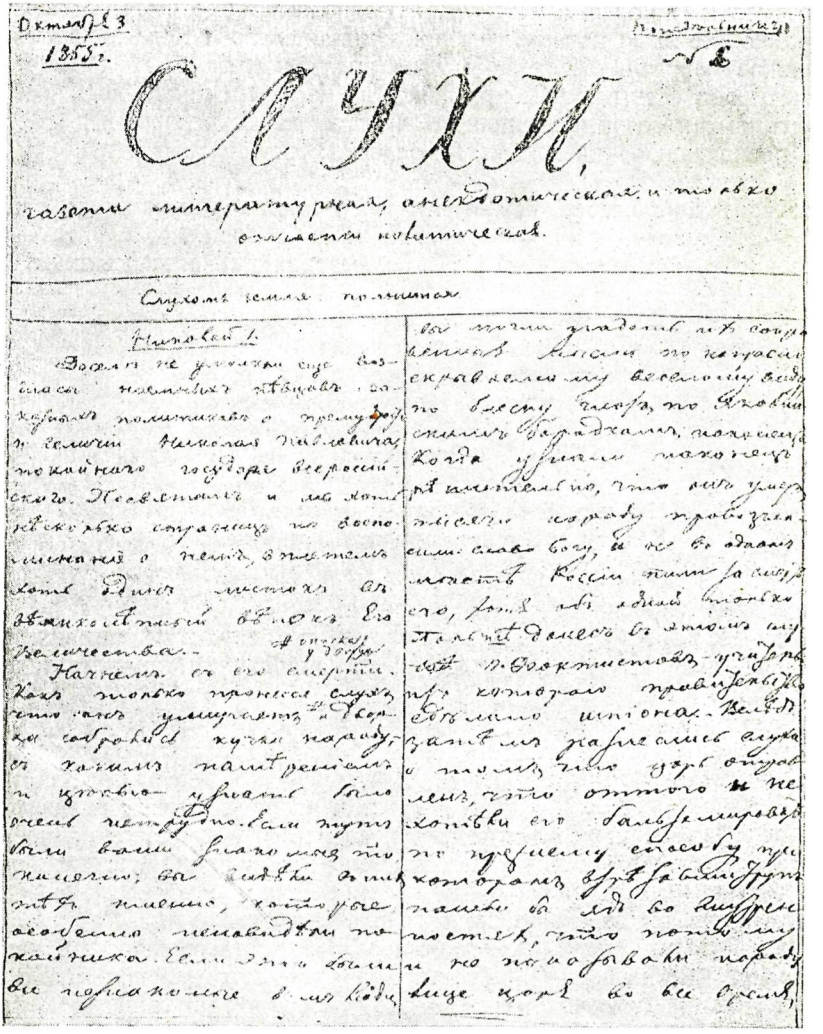
встать во главе нашего небольшого кружка. Я уже сказал вскользь о влиянии его на развитие Добролюбова. Но его неспособность отделить общее дело от своей личности, неспособность поставить его выше своих личных интересов, и его беспрестанные цинические выходки против лучших наших товарищей — оттолкнули от него всех нас. На прощальном вечере он жаловался на бесцельность подачи жалобы императору, стоившую стольких жертв (в числе депутатов был и его брат) и позволил себе некоторых упрекнуть, что, разумеется, вызвало жаркие нападения на него [13]. Об этой размолвке и упоминает П[аржницкий] в своем письме. Кажется, с этого вечера Добролюбов окончательно разошелся с Д. Щегловым.

Сделавши характеристики двух своих товарищей, я удерживаюсь от остальных. Их достаточно, чтоб понять, из каких элементов складывался наш кружок и что было мотивом его жизни. Перехожу теперь собственно к Добролюбову в Институте, но не бывши с ним в первые годы студенчества в столь близких отношениях, чтоб проследить его развитие, я, к сожалению, должен ограничиться одною фактическою стороною его жизни. Я должен воротиться назад.

Вскоре после вечеринки на Вас. острову Давыдов сделал обыск Добролюбову и Щеглову. У Добролюбова были найдены несколько печатных и переписанных сочинений Герцена и черновые стихотворения на юбилей Гречу. Последнее было с поправками и помарками, доказывавшими, что он был автором неожиданного поздравления Гречу. У Щеглова, всегда осторожного, ничего не было найдено. Давыдов объяснил Добролюбову, что он, как верный слуга государя и сын отечества, обязан донести о всем найденном 3-му отделению. Шутка была плоха — Николай еще был жив и такое выражение верноподданничества Давыдова могло стоить жизни Добролюбову... Добролюбов убедил его следующим силлогизмом: «я — погибший человек, стоющий за свое преступление лютой казни, но на моих руках семья; за что ж она будет гибнуть? За мое преступление по русским законам следует ссылка в Сибирь. Ваше Превосходительство имеете возможность наказать меня ссылкой и в то же время не погубить моей семьи. Я подам прошение об определении меня в уездные учителя, и вы можете послать меня учителем в какой-нибудь далекий город в Сибири, я буду наказан, но моя семья не будет лишена последнего куска хлеба».—Давыдов убедился, и прошение было подано. Но Давыдов, заботившийся о прославлении падавшего Института чрез его питомцев, не мог не ценить Добролюбова; он довольствовался тем, что помучил его несколько дней страхом и томлением за будущность своей семьи, принял прошение, но не пустил его в ход, надеясь им держать преступника постоянно в своих руках. Он ошибся. Впоследствии его угрозы, что он пустит прошение в ход, не имели никакой силы. Время прошло, а с ним и страх; да притом на престоле Николая уже не было [14].

18-го февраля 1855 года день замечательный для России — в этот день она освободилась от тяжелой руки деспота, давившего ее в продолжение 30 лет. В этот год мы, студенты, уже получали газеты и журналы. Два-три запоздавшие бюллетеня, извещавшие о болезни Николая, наполнили наши сердца нетерпеливым ожиданием; мы переговаривались друг с другом, припоминали 14-ое декабря 1825 года и, разумеется, мечтали, как дети. Впрочем о смерти императора не было еще известно нам, а мы не могли выйти из Института, чтоб узнать, не делается что-либо вне его стен. Вдруг один из студентов вбегает в камеру с криком: «Ванька плачет» (Ванькой мы звали Давыдова). Мы высыпали за двери нашей камеры, чтоб полюбоваться этим зрелищем: Давыдов ходил большими шагами в профессорской комнате, тихо разговаривал с инспектором и утирал беспрестанно глаза платком; по временам он вскрикивал: «бедное наше отечество!» Не знаю, были ли в этом

случае слезы Давыдова искренни, но впоследствии мы убедились в его способности лить слезы, когда он считал это нужным; например, говорил прощальную речь студентам на акте 1850 года он, кончая ее словами Лермонтова — «и верится, и плачется, и так легко, легко», действительно зарыдал. Разумеется, в студентах этот плач пробудил отвращение, и мы с громкими смехами, несмотря на присутствующую публику, стали выбегать из актовой



Октябрь 3
1855 г.

№ 8

Слухи,

газета литературная, анекдотическая и по возможности политическая.

Слухом земля полнится

ПЕРВАЯ СТРАНИЦА ОДНОГО ИЗ НОМЕРОВ ПОДПОЛЬНОЙ РУКОПИСНОЙ ГАЗЕТЫ «СЛУХИ», ВЫПУСКАВШЕЙСЯ В ГЛАВНОМ ПЕДАГОГИЧЕСКОМ ИНСТИТУТЕ В 1855 г.

Институт Литературы, Ленинград

залы. Но Ванька плачет, значит Николай умер. После институтского обеда я вышел на Дворцовую площадь — на ней в разных местах стояли до десятка групп очень хорошо одетых мущин и франтих-дам; молчание царствовало на площади, только из одной группы по временам вырывался добродушный смех, я посмотрел на нее — там виднелись трехугольные шляпы студентов. Я пошел дальше, с любопытством осматривая другие группы — везде шел тихий разговор, но никакой печали, никаких слез не было за-

метно на лицах. К дворцу подъезжала карета за каретой. Я подошел к подъезду. В больших окнах зимнего дворца виднелись дворцовые лакеи в красных ливреях; все они беспрестанно подносили белые платки к своим глазам. Я улыбнулся, мне вспомнился Давыдов. Удовлетворивши любопытство, с Дворцовой площади я отправился шляться по городу — везде была та же кипучая жизнь, также нагло посматривая разъезжали на рысаках по Невскому камелии, та же суета, то же движение — казалось, что никто и не знал о смерти Николая, а между тем предполагать это для Петербурга было бы странно. Не знаю почему, мне припомнились слова Карамзина, которыми он начинает описание состояния умов после смерти Ивана Грозного: день смерти тирана есть великий праздник для народа и проч., хотя я и не мог заметить никакого и праздничного чувства на встречавшихся мне лицах. Такое равнодушие — ни печали, ни радости: мне стало противно, и я воротился в Институт [15].

Вечером Добролюбов, встретившись со мной в рекреационной комнате, сказал: «Не хочешь ли прочесть стишки?» — «Твои?» — «Мои». — Я взял и стал читать: это были стихи «18-ое февраля»; начинались они:

По неизменному природному закону
События идут обычной чередой
Один тиран исчез, другой надел корону
И тяготеет вновь тиранство над страной.

И кончались:

И будет Русь страдать при сыне бестолковом
Как тридцать лет страдала при отце.

«Ну что? спросил он, когда я кончил.

«Ничего, хорошо. Только зачем ты предрекаешь страдания при сыне, да еще называешь его бестолковым? Ведь по слухам, он хоть и пьяница, а с хорошим сердцем?

«Дело тут не в человеке, а в царе. Однакож прощай».

Мы разошлись. Это стихотворение ходило по Петербургу, как и многие другие, написанные Добролюбовым. Товарищи его делали списки и разносили по своим знакомым и таким образом распространяли их по городу [16].

В 1860 году бывши в Вятке мне попалась в руки тетрадь запрещенных стихотворений одного семинариста тамошней семинарии. Перебирая, я встретил в ней два-три стихотворения, писанные Добр[олюбовым] во время его студенчества. Так далеко расходятся эти стихотворения!

Слухи о либерализме нового императора подтверждались. Я не говорю об удалении Клейнмихеля, Бибиковых и проч. — эти удаления мало радовали, потому что они были делом его личных отношений, но такие дела, как уничтожение ограничения числа студентов в университетах, открытие медицинского факультета в Варшаве, известная речь его московскому дворянству и проч. — предвещали новое время. Кто мог не поддаваться в то время надеждам из нас русских, когда поляки, имеющие больше причин ненавидеть всякого русского императора, встречали восторженно Александра, задавали ему пиры, охоты, а он упоенный этими радостными кликами надежд, делал публично обещания за обещаниями и тем еще больше укреплял эти надежды? Теперь уж время увлечения прошло и для нас, и для поляков, а я помню его приезд в литовские губернии, помню взволнованные речи, полные восторга лица поляков и каких еще! Таких, которые ненавидели с русским правительством все русское, которые после присоединения литовских провинций к России не хотели служить, ушли в свои поместья или брали

в аренду чужие и там в глуши гордо выносили тяжелую для них бездейственность...

Вот один из оставшихся в моей памяти случаев с одним из таких поляков. Он служил прежде, когда там действовал литовский статут, адвокатом. Ученик Мицкевича, гордый, но честный лях, он бросил свою профессию, как только было введено русское судопроизводство, взял в аренду какое-то имение и, окружившись семьей, доживал в деревне свои преклонные лета. Воротившись со встречи Александра, он с восторгом описывал каждую мелочь, повторял ломанным русским языком каждое слово императора, как бы стараясь проникнуть в их действительный смысл и успокоенный от всякого сомнения, он кончил по польски: «да, во всем, в каждом шаге, в каждом взгляде и в каждом слове видна царственная кровь. Как орел глядит он и каждый звук его речи заставляет сердце биться радостью — он сделает, непременно сделает все». Я улыбнулся в ответ на это произведение разгоряченной фантазии польского демократа и заметил, что величественность посадки, уверенность и смелость речи и действий происходит не от качества крови, а от привычки, приобретенной с детства, держать себя так, а не иначе и проч... Но тогда за эту невинную заметку на меня поднялись все присутствовавшие поляки и польки, доказывая, что правители народа (разумеется, не все, как Николай) суть орудия божией воли, удовлетворенной страданиями порабощенного народа, что на таких орудиях отпечатывается дух божий и проч. Я, разумеется, при таком их настроении не мог продолжать спора. Так сильно очарование надежд.

Вот в это то время общих надежд, скоро последовавших за 18-м февраля, чрез несколько недель после описанной моей встречи с Добролюбовым, он где-то, поймавши меня, вынул из кармана почтовый листок бумаги и дал мне прочесть, сказавши — «это тебя удовлетворит». — Я прочел: в стихах от имени русского народа неизвестный автор обращался к Александру, указывая ему на нужды русского народа. Стихи были мягки, несколько восторженны и должны были понравиться и польстить императору. «Эти лучше — хорошо было бы дать их самому Александру,—сказал я, смеясь».—«Я их сейчас отсылаю по почте, на имя Адлерберга-père. Он конечно подслужится ими Александру». Стихи были действительно посланы; не знаю подслужился ли ими Адлерберг. Я, к сожалению, не упомню из них ни одного стиха; осталось только общее приятное впечатление. Впоследствии же никогда не приходилось заводить о нем речь [17].

После смерти князя Ширинского-Шихматова, [А. С.] Норов в продолжении нескольких лет один управлял м[инистерс]твом нар[одного] просвещения; по званию министра он был и главным начальником Гл. Пед. Института. Отношения его к Институту были вполне идиллическими. Он наезжал на Институт в разное время, предваряя о своем приезде институтское начальство, восхищался студенческим обедом до того, что иногда просил позволения у студентов завезти институтский пирожок своей супруге, крикливо говорил студентам о любви и преданности престолу и отечеству, в своих речах беспрестанно сбивался, нес чепуху и оканчивал их всегда: «в эфтом я уверен». На экзаменах он приезжал на богословие и греческий язык; делал по первому возражения отвечающему, часто сам не понимал своего вопроса, еще чаще путался и в заключение обращался к попу: «как это, батюшка? аще... аще... аще?» — «Аще взыду на небо, ваше высокопревосходительство», смиренным голосом, отвечал поп, почтительно приподнимаясь с своего стула. «Аще взыду на небо,— кричал между тем Норов,— ты тамо еси», но под конец текста опять сбивался, забывал и обращался за помощью к попу. В восторге от себя и от Института уезжал от нас Норов: начальство проводивши его, значительно улыбалось, а студенты громко хохотали и копировали хромого министра просвещения. Но вот новый импе-

ратор назначил князя [П. А.] Вяземского в товарищи Норову, а Норов передал ему свое главноначальствование Педагогич[еским] Институтом. О Вяземском мы знали, что он старый литератор, что прежде он был либералом и безбожником (его «Русский бог»), знали, что впоследствии Белинский отзывался о нем, что он — князь в обществе, холоп в литературе. Сочинений Вяземского мы не читали, исключая его последнего лакейского стихотворения «6-ое декабря», напечатано в «Петерб[ургских] Ведомостях» за 1854 год и то только потому, что на акте Академии Наук, приверженные престолу ученые сердца академиков заставили три раза прочитать это глупенькое стихотворение. Лакейское вдохновение князя Вяземского окончило это стихотворение следующими стихами.

Отстоит царя Россия,
Отстоит Россию царь.

И вот этому-то двустишию ученые мужи придавали пророческое значение, приходили от него в экстаз, заставляли чтеца повторять его и вели себя решительно неприлично для своего ученого сана. Вяземский вскоре приехал в Институт, разумеется, отправившись сначала к Давыдову; походил, потом, в сопровождении Давыдова по Институту, помычал (Вяземский редко говорил, но всегда м ы ч а л; он медленно и тихо выпускал слова сквозь зубы, но так, что понять его мычанье трудно было и человеку, к которому он обращался), помычал, да и уехал. Он представлял некоторую противоположность с Норовым: этот был жив, подвижен, всегда готовый восторгнуться, тот же неподвижен, вял, ленив и неуклюж. Один говорил так, что кричал; другой едва слышно да и то при достаточном напряжении уха. Но как то ни было, а Вяземский показался нам человеком далеко более положительным, чем юно-старый Норов; первое, да и последующие впечатления были в пользу его.

Тяготившись нравственным и материальным состоянием Института, мы давно хотели прибегнуть к какой-нибудь решительной мере для улучшения своего положения. Бедное полунищенское содержание, нравственный гнет Давыдова, чрезмерное наложение пассивной учебной работы, часто пустой и бесполезной, но поглощавшей все время от 6 часов утра и до 10 вечера — все это было сверх человеческих сил. Некоторые из наших товарищей в продолжение еще первого года умирали чахоткой, другие выходили добровольно в уездные учителя. А по наружности это заведение считалось великолепным. И в самом деле везде чистота, опрятность, везде паркетные полы, 2 швейцара на двух подъездах и 60 простых служителей. Отчеты о состоянии Института были наполнены восхвалениями необыкновенно прекрасному состоянию Института; в одном из отчетов ученый секретарь увлекся даже до того, что выразил: «Институт при Ив. Ив. Давыдове достиг полного совершенства». И в самом деле у нас были профессора-знаменитости, к нам, поглядеть на нас, приезжали педагоги, иностранные послы, путешественники — чего же более? Решились действовать на Вяземского, как на человека нового, след[овательно], не успевшего снюхаться с Давыдовым. Добролюбов составил описание Главного Педагогич[еского] Института с закулисной его стороны; описание было составлено чрезвычайно умно и полно. Институт разбирался во всех его отношениях, и основанием разбора служили печатные отчеты институтского начальства, там же, где отчет не мог служить основанием, Вяземского приглашали убедиться своими глазами и при этом требовалось только исполнение небольшого условия — приехать в такой-то час, не предваривши начальства о своем приезде. В заключение студенты обращались к Вяземскому, начать дело ревизии тихо и тайно, не показывая официального вида и главное не обращаться при начальстве к студентам, потому что такого студента начальство на другой же день могло заесть.

Описание Института было запечатано в пакет и отдано княжескому швейцару для передачи князю. Прошло месяца два-три прежде, чем Вяземский решился приехать. Неожиданный приезд его изумил Давыдова и все институтское начальство. Вяземский приехал незадолго до обеда и пробыл обед — к пробному обеднему столику он не подходил, но нерешительно бродил между студенческими столами, делал «стойки» над мисками супу, но попробовать супу не решился. На заискивающее ухаживание Давыдова он посматривал недоверчиво, отмычивался — и только. После его отъезда Давыдов видимо бесился — все начальство ходило с пасмурными лицами, а мы радовались и были довольны, что наконец-то Вяземский решился действовать. Он приезжал и после этого несколько раз и также неожиданно, но решиться попробовать обед, выразить Давыдову какое-нибудь неудовольствие — никак не мог. Давыдов ободрился: он уже понял Вяземского и обходился с ним полушутливо. Вяземский, уставший от таких трудов, а может быть и обиженный шутливым обхождением с ним Давыдова, прекратил свои посещения.

Прошло еще несколько времени, и в Институте стали носиться слухи об официальной ревизии; само начальство говорило о ней и тайно готовилось. Мы приуныли, потому что видели, что дело пошло по той дороге, где все обстоит благополучно. Действительно вскоре явился чиновник ми[нистер]ства — [С. Н.] Палаузов и начал ревизию; видно было что он сам тяготился делом, в котором беспрестанно приходилось сталкиваться с Давыдовым, и старался скорее его свернуть. Что он сделал — нам ничего не было известно, мы только узнали, что «Описание Института» не было в его руках. Впрочем, что ж мог сделать незаметный чиновник министерства, когда товарищ министра затруднялся повести дело прямо и честно, когда он сам пред одним из моих товарищей, студентом А., признавался, что с Давыдовым ничего нельзя сделать. Студент А. хлопотал о переводе своем в Петербургский университет, был у Вяземского и нарочно завел речь о Давыдове. «Что я могу сделать с ним, когда он сильнее меня»,— отвечал князь и посоветывал самим студентам вести это дело. «Пусть явится к Давыдову сегодня один студент и скажет ему, что нас обворовывают; завтра другой, после завтра третий и т. д. Кончится тем, что Давыдов струсит и сделает по-вашему». Студент А. рассмеялся и отвечал: «Давыдов имеет возможность прекратить такие неприятные для себя явления студентов — он первого, а может быть и больше одного, сошлет куда-нибудь приходским учителем, а министерство не откажет ему утвердить такую ссылку». «Ну, этого я не знаю», промычал смущенный товарищ министра. Тем и кончилось это дело. Начальство торжествовало; Давыдов с особенным самодовольством посматривал на студентов. Есть причины думать, что он читал «Описание Института» — кто-нибудь из его министерских друзей доставил это описание ему.

Вскоре наступили экзамены. Это было в мае 1856 года. Выходил из Института курс, который был перед нами. Студенты этого курса отличались, вообще, духом кротким. В отношении Давыдова они держали себя с достодолжным почтением; нашим маленьким демонстрациям противу Давыдова не сочувствовали, а подчас даже явно выказывали себя против нас. Надежды на Давыдова у них были громадны... Но экзамены кончились и Давыдов не оправдал надежд многих из кончивших курс. Тогда-то один из недовольных послал в ми[нистер]ство ругательное письмо на Давыдова и на Институт; я не читал этого письма, но слышал, что оно полно было площадных ругательств, которые могли быть извиняемы только особенностью состояния писавшего. Но едва только разнеслась в Институте молва, что в министерстве получено какое-то описание Педагогического Института, как в городе заговорили, что студенты Педагогического Института высекли розгами своего директора. До настоящей

минуты едва ли кто, даже из студентов Педагогического Института, знал об авторе этого пасквиля на Давыдова. Я свято хранил тайну моего лучшего товарища, мучившегося этой клеветой, сделанной им вследствие минутного увлечения под влиянием особенных обстоятельств. Смерть его пусть развяжет языки всем; пусть скажут про него все дурное, скрываемое боязнью повредить ему в жизни. Я твердо уверен, что один только упрек, именно тот, о котором я говорю, может еще быть ничтожным пятном на светлом воспоминании о нем, да и это пятно будет пятном только в глазах людей щепетильно-честных, таких, которые не способны ни увлекаться, ни падать, ни вставать. Я смело объявляю о нем.

В последних числах июня 1856 года Добролюбов и я возвращались в Институт от общего знакомого нашего Малоземова, разговаривая об Институте и Давыдове.

«Я сделал подлость, начал по какому-то поводу Добролюбов, которой никогда не прощу себе. Видишь ли когда разнеслись слухи, что в Министерстве получено описание Педагогич[еского] Института,— мне почему-то показалось, что Вяземский официальным образом представил н а ш е описание в м[инистер]ство. Ты видел, как действовал в Институте Вяземский; министерство стало бы действовать еще слабее. Мне пришла мысль, заставить их действовать решительно. Как только пришло это в голову, я написал несколько записок такого содержания: «в ночь с 24-го на 25-ое июня сего года студенты Главн[ого] Педагог[ического] Института высекли розгами своего Директора Ивана Давыдова за подлость, казнокрадство и другие наглые поступки», прибавив к этому еще незначущую фразу, — и разослал эти записки по редакциям».

«Что ж тут подлого? Ведь с Давыдовым никто ничего не может сделать — Вяземский отказался и по моему мнению в таких обстоятельствах иезуитское правило — цель оправдывает средства вполне нравственно. Ведь для таких людей, как Давыдов, остаются только подлые средства».

Но Добролюбов не успокоился на этом. Он доказывал, что как бы подл ни был человек, честному человеку все-таки не следует действовать подлыми средствами, что он, Добролюбов, поступил бы честно в отношении самого себя, если бы прямо, публично дал оплеуху Давыдову, что всегда помешает повести дело прямо и честно это подленькое чувство боязни за себя, за свою семью, что наконец мы, смеющиеся над пуглливыми восклицаниями инспектора (инспектор имел привычку по всякому ничтожному поводу, например, заставши студентов с папиросой кричать: «пощадите, господа, меня, ведь у меня жена, дети!» и при этом уморительно разводил руками), нисколько не лучше его. Со всем этим, разумеется, нельзя было не согласиться, но я настаивал на том, что из-за такого дела, как побиение Давыдова, действительно не стоит губить себя, что наша жизнь еще впереди, что (кто знает?) может быть мы способны принести в жизни большую пользу, чем отколотить Давыдова. Он казался несколько успокоившимся, и мы расстались, дав обещание никому, даже из своих товарищей, не говорить об авторе пасквиля. Приведенный мною разговор я помню почти слово в слово и за истинность его могу вполне ручаться.

А в Институте между тем происходили драматические сцены по поводу этого пасквиля. А. А. Краевский, получив записку о сечении Давыдова, немедленно отправился к Норову и отдал ее министру. Норов послал курьера к Давыдову с приглашением немедленно явиться. Неизвестно, какого рода разговор вел ми[ни]стр народного просвещения с Давыдовым, но Давыдов, воротившись в Институт, собрал у себя на квартире окончивших курс (нас почему-то он не пригласил, потому ли, что его подозрения не падали на нас, или потому, что не надеялся найти в нас достаточного сочувствия к себе — бог его ведает!), сказал им трогательную речь о том, как иногда на людей

заслуженных, осыпанных царскими милостями, падает дерзкая клевета, потом вынул пасквиль, сам прочел его и залился слезами. Я уверен, что слезы Давыдова тут были искренни — не могло быть сильнее удара для его честолюбия, как такого содержания пасквиль. С трудом удерживая катящиеся слезы, Давыдов просил студентов письменно опровергнуть эту клевету. Студенты удовлетворили его желание. С этим письменным актом Давыдов полетел к министру, который, вероятно, также удовольствовался таким официальным заявлением сочувствия студентов Давыдову. Впрочем носились слухи, что Давыдов уверил Норова, что и все студенты пылают негодованием против дерзкого оскорбителя и что даже, в знак особенной привязанности их к нему, умолили его, Давыдова, отлитографировать свой портрет. Так ли это было — знает Норов, а я знаю только, что дней через 5—6 действительно явились давыдовские портреты: их разносили по камерам надзиратели, делая тонкие намеки студентам поспешить приобресть их; студенты же находили, что портреты действительно схожи с оригиналом, но покупать не покупали. Так это дело и замолкло бы, но месяцев через 5—6 всех в Институте пробудило следующее объявление, напечатанное в прибавлении к «Моск[овским] Ведомостям»: «Московский 3-й гильдии купец Иван Давыдов-Сеченый сим объявляет, кому ведать надлежит, что он с большою выгодою принимает казенные подряды и поставки; жительство имею в С. Петербурге, на Васильевском Острову близ 1-го Кадетского корпуса в д. Федора Ильина». (Федор Ильин был экономом в Институте). Это объявление, напоминавшее шуточно о первом пасквиле, доставило много забавы не только студентам, но и профессорам [18].

В нумерах Колокола за 1858 год была напечатана статья «Партизан Иван Иванович Давыдов» с эпиграфом из Дениса-Давыдова:

Шапка зверски на бекрень,
Ментик с вихрями играет.

Статья эта принадлежит Добролюбову. В ней описываются институтские подвиги Давыдова. Между прочим там сказано, что Давыдов своими поступками довел студентов до пасквилей, и за тем рассказывается об обоих пасквилях. Во многих местах тон статьи из насмешливого переходит в оправдательный: смеясь над Давыдовым, автор как бы оправдывает студентов, и эти оправдывания делают ее особенно слышной, когда он доходит до пасквилей. Читатель поймет, какое чувство побудило Доболюбова напечатать эту статью.

К 1856 году принадлежит Добролюбову одно юмористическое стихотворение «26-ое августа», написанное им на иллюминацию, бывшую в этот день. Вот начало его.

Царь Николай просил у бога
Суда на сына своего.
Распространился очень много
О непокорности его
Отцовским мудрым повеленьям.

Я не буду выписывать всего стихотворения, оно слишком известно. К этим годам с 1855—1857 года должно отнести множество других его стихотворений, которые, вероятно, еще долго не могут появиться в печати. Из них я помню: «На перемену формы», «Газетная Россия», «К портрету Давыдова». С 1855 года Добролюбов стал издавать в Институте газету «Слухи»; содержание ее было почти исключительно политическое. Ее вышло не более 20 нумеров — почти все статьи в ней принадлежали Добролюбову, только две статьи покойному Н. П. Турчанинову. Прекратилась она от недостатка деятельного сочувствия к ней [19].

Учебный 1856—1857 год был богат стычками студентов нашего курса с Давыдовым. Стычки эти были большею частью частными, но иногда

велись от имени целого 4-го курса. Страх, внушаемый Давыдовым, рассеялся, как скоро авторитет его подорвался, а его авторитет действительно был подорван и в министерстве, и в публике (рецензией на акт Гл. Пед. Института, помещенной в «Современнике» за 1856 год). Напрасно старался Давыдов удержать прежний институтский порядок угрозами — угрозы не помогали; он бросился на правила официального устава, которые он прежде считал за ничто и изменил по своему произволу, требуя от студентов точного буквального выполнения их — студенты молча выслушивали его длинные речи и тотчас же, после речи, официально требовали от него самого выполнения тех правил устава, которых выполнять он имел причины не желать. Давыдов стал п р о с и т ь студентов, предлагал сделки, но это возбуждало еще большее озлобление.

Припоминая это время, я удивляюсь, как Давыдов сумел сберечь себя от существенных личных оскорблений. Те или иные оскорбления, которые считаются несущественными, выражались в каждой школьной выходке. Идет ли Давыдов своим тяжелым шагом по коридору, а сзади его раздается крик, копирующий его манеру говорить: «Э, наш отец-подлец идет» — и Давыдов учащает свои шаги. Идет ли он ночью по спальням, с своим скрытным фонариком, в сопровождении эконома, старшего надзирателя и вахтера — с постелей студенческих раздаются крики: «караул, воры». Нужно было видеть Давыдова в это время — он похудел, осунулся, потерял самоуверенную посадку, исчезла и его величественная походка. Он редко стал появляться в аудиториях и студенческих комнатах. Студенты жили почти свободно; даже и те из них, в которых прежнее воспитание и гнет институтской жизни, казалось, задавили последнюю искру человеческой свободы, подняли голову, оживились. Стремления к научным интересам нисколько не ослабели от таких б е с п о р я д к о в, как выражалось институтское начальство; напротив, занятия студентов носили уже характер некоторой самостоятельности, о чем могут свидетельствовать и печатные отзывы профессоров о студенческих сочинениях за 1857 год (см. «Акт X выпуска студентов Гл. Пед. Института». СПБ. 1857 г.). Лекции профессоров, правда, уже потеряли для студентов то исключительное значение, которое они имели для них в прежние годы; некоторые профессора возбуждали не только насмешки, но даже и негодование. Добролюбов в это время носился с Гейне, которого он переводил на русский язык; многие из своих переводов он читал нам, приводя нас в искренний восторг. Каждый из нас уж смотрел на него, как на даровитейшего из всех нас, откровенно признавался в его превосходстве, обращался к нему за советом по всякому делу — в то время все студенты действительно любили эту могучую и талантливую натуру, а наш кружок просто-на-просто гордился им. Не раз ставили его в параллель профессорам и это сопоставление наполняло гордостью наши молодые сердца. В это время начиналась уже его литературная известность — в «Современнике» были напечатаны его «Акт Гл. Пед. Инст.» и «Собеседник любителей российского слова», по которому завязалась небольшая полемика с Галаховым, составителем хрестоматии; он был вхож в литературный кружок Некрасова, Тургенева и Чернышевского *, а перед этим кружком мы

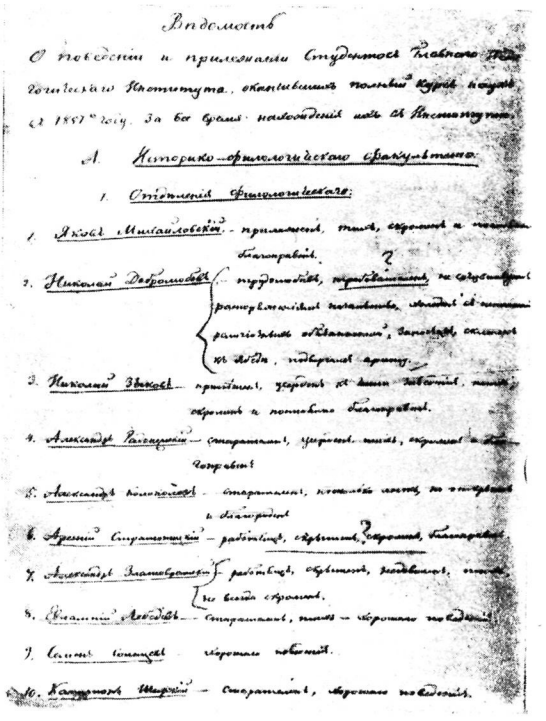
* Я боюсь, почтеннейший Николай Гаврилович, чтоб увидавши свою фамилию, вы не приняли помещение ее за нехорошее действие с моей стороны. Вас мы знали давно из восторженных рассказов о вас Н. П. Турчанинова и из «Очерков Гоголевского периода литературы». Эта заметка только для нас, Николай Гаврилович; она сделана по поводу той части Вашего письма к З[ари]ну («Современник» февр[аль] 1862 г.), где вы не признаете за собой литературного влияния в эти годы. На Добролюбова, может быть, прямого влияния вы не имели, да на него такого влияния едва ли кто производил: он развивался вполне самобытно, но косвенное влияние, так сказать, пробуждающее, имели многие, как Белинский, Герцен, Некрасов, Тургенев и вы [20].

«ВЕДОМОСТЬ О ПОВЕДЕНИИ И ПРИЛЕЖАНИИ СТУДЕНТОВ ГЛАВНОГО ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ИНСТИТУТА, ОКОНЧИВШИХ ПОЛНЫЙ КУРС НАУК В 1857 г...»

ПЕРВАЯ СТРАНИЦА

Второй в списке — Н. А. Добролюбов

Областное Архивное Управление, Ленинград



благоговели. С жадным любопытством расспрашивали мы его об этих личностях, так занимавших нас и так возбуждавших к себе наши симпатии. Прошлое время, а как хорошо оно было и как скоро прошло! Действительно, весь этот год, проведенный в Институте, прошел незаметно; только близость мая, неожиданно подкатившегося, напомнила нам, что мы еще в Институте и что экзамены и экзамены страшные на носу.

Экзамены были для нас страшны не потому, чтоб они сами по себе страшили нас, а потому, что исход их был в руках Давыдова, которого мы имели причины считать ожесточившимся против нас. Разъяренный Давыдов при полном преклонении пред ним большей части профессоров мог повредить нам сильно. Я уже сказал в начале своих воспоминаний, что почти все мы были без состояния, без связей и без протекции; к этому нужно еще прибавить, что на многих из нас покоились лучшие надежды близких нам, родных наших; это не были, конечно, надежды честолюбия, но от нас ожидали себе помощи семьи, из которых мы сами вышли, пользы попросту сказать, денежной, вещественной. Отношения Добролюбова к семье отчасти уже известны; в подобных отношениях, хотя и менее тяжелых (исключая, впрочем, — одного Турчанинова), было большинство из нас. Положение невеселое, но дорога была одна — это не уступать ни шагу. Мириться с Давыдовым было невозможно, да и одна мысль о примирении поднимала такое гадкое чувство, что тотчас же и замирала. Итак, мы решились, не щадя живота, работать, сколь сил хватит. И действительно работали и день, и ночь в продолжение двух-трех месяцев *: мы должны были сдавать экзамен за 4 года. Но вот и они настали — начальство разослало печатные приглашения любителям просвещения с расписанием экзаменов и фамилиями студентов. Шли экзамены, вообще, хорошо; случаев провалення было очень

* Добролюбов, впрочем, мало заботился об экзаменах и попрежнему сидел за Гейне или за другой посторонней работой [21].

немного, каких-нибудь два-три. Давыдов вел себя на экзаменах, как истинный джентельмен, т. е. предоставлял аттестацию баллами экзаменатору и ассистенту, а сам на это время уходил в отдаленный угол (глядите-де, вот я и не суюсь!).

Экзамены кончились. Все мы ходили веселые, с радостными лицами— почти все по экзаменным баллам должны были выйти старшими учителями гимназии (это была высшая степень, с которою выпускались студенты Института). Вот и последняя конференция профессоров настала; конца ее мы ждали больше с любопытством, чем с нетерпением — решения ее, казалось нам, уже и без того известны. Она продолжалась очень долго, но когда кончилась, мы с изумлением узнали, что 12 человек выпущены младшими учителями, а из них 10 по правилам институтского устава должны были быть старшими учителями. Дело открылось просто. Давыдов не мешал экзаменам: он дорожил ученой славой Института, а потому уменьшать экзаменационные баллы не было в его интересе. Но оставить нас без отместки он также не хотел. Заготовив заранее баллы п о в е д е н и я, он настаивал на конференции, чтоб звание старшего учителя присваивалось тому из окончивших курс, кто кроме удовлетворительных баллов из наук, имеет в поведении 5. Профессора большинством голосов понизили эту цифру до 4, но и за этим пониженным баллом осталось еще 10 человек, жертв Давыдовской мести *.

Негодование было страшно, многие не помнили себя от досады и злобы на Давыдова. Планы менялись быстро — то хотели итти к Давыдову на квартиру целым курсом и бить его; то целым курсом жаловаться министру на несправедливость, то... но всего не перечтешь. 10 человек готовы были на всякую меру, но не все остальные; благоразумие уже руководило ими. Конечно, при тогдашнем образе мыслей нашего министерства попытка подачи жалобы всем курсом была опасна, тем более, что она задела бы и всех наших профессоров, как участников такой несправедливости, а гонор ученых, как известно, самый большой из всех гоноров; правда, что допустивши явную несправедливость, они, вероятно, для опровержения ее решились бы смотреть сквозь пальцы на некоторые уловки Давыдова, но из чести товарищеской, ради той дружбы, которая связывала нас, нам не должны бы приходить и в голову подобные благоразумные соображения. Большинство решительно было против этого, а меньшинство хоть и соглашалось, но прямо говорило, что из этого ничего не выйдет, кроме обвинения в заговоре, в бунте. Нет, решительно всеми нами овладела практическая мудрость. Неприятное воспоминание и горькое, потому что такая практичность одних породила в других много гадких упреков, недоверие друг к другу, подозрительность и проч. — и все это кончилось, как и следовало, полным разрывом.

В это-то время общей разладицы, случайно, в одной из комнат химической лаборатории сошлись мы трое—Добролюбов, Б[ордюго]в и я. Я не помню хорошо о чем шел разговор; помню только, что мы подсмеивались над озлоблением некоторых, не получивших сверх чаяния медалей, на которые они, как оказалось, сильно рассчитывали; из этих некоторых были

---

* Замечу здесь о Добролюбове. Аттестован он в аттестате поведением д о б р о п о р я д о ч н ы м, но выпущен с т а р ш и м у ч и т е л е м. На конференции некоторые профессора требовали ему золотой медали и требовали горячо (как напр. Срезневский). Давыдов, конечно не мог и заикнуться, чтоб назначили Добролюбова младшим учителем; он отбивал только его от золотой медали и отбил с трудом, предложивши ему серебряную, на что и согласилось большинство профессоров. Но Срезневский сказал решительно — или золотую, или никакую и настоял на своем. Добролюбову не дали никакой.

такие, которые выдавали себя прежде за людей свободно-мыслящих. Потом разговор зашел об отношениях Давыдова к Добролюбову.

«А что, — сказал Добролюбов, — не сходить ли мне к Ваньке — поблагодарить его за расположение? Ведь это будет в последний раз, больше посмеяться в лицо над ним не удастся».

Мы подхватили и убедили его — сходить. Чрез пять минут он возвратился и рассказал всю эту натянуто-смешную сцену. Давыдов вышел, встал к окну в полуоборот к Добролюбову; Добролюбов был на другом конце залы. Выслушав, не поворачивая лица, слова Добролюбова: «позвольте поблагодарить в[аше] п[ревосходительство] за расположение, которым я пользовался от вас во все 4 года, а в особенности в последний год и на последней конференции», Давыдов с минуту простоял молча, потом вдруг повернулся, раскланялся и вышел в дверь своего кабинета. Вот и все, что рассказал нам Добролюбов, а лгать не было в его натуре, да при этом не было и времени для сочинения. Мы посмеялись и скоро забыли об этой школьной шутке. Я с целью подробно описал эту невинную выходку против Давыдова, потому что она имела странные последствия.

10 человек решились от себя подать министру жалобу на неправильность решения конференции; несколько проектов жалоб были составлены, но не было ни одного, который бы нравился всем: они исправляли, дополняли, сокращали, но все не клеилось. В эту минуту, когда они от внутреннего волнения не могли порядочно, в умеренном тоне, составлять жалобы, вошел в их камеру Добролюбов. Узнавши в чем дело, он в две минуты составил проект жалобы, удовлетворивший желаниям всех. Жалоба была подана министру, кажется, в тот же день. Вскоре назначено было следствие, и следователем назначен вице-директор департамента [А. Е.] Кисловский. Профессора были собираемы несколько раз, но рассуждения их хранились ими в строгой тайне от студентов.

Назначение следствия взбесило Давыдова, но его бешенство не имело границ, когда он узнал, что жалоба составлена была Добролюбовым. Ругая Добролюбова перед своими confidents *, называя его неблагодарным ** и всеми прозвищами, он кончил тем, что вот он каков: «в тот же день он валялся у меня в ногах, прося у меня прощения, а чрез час пишет на меня жалобу». Мы видели, как Добролюбов валялся в ногах у Давыдова, да кто знал Добролюбова, знает, как возможно было для него валяться в ногах у кого бы то ни было.

Однакож Давыдовские confidents не усумнились и с разными ужимками передавали эту фразу студентам. Для верных слуг Давыдова, не терпевших и боявшихся Добролюбова, эта фраза могла показаться правдивой, но что удивительно, так это, что часть студентов поверила ей. Ненормальное состояние духа, общее раздражение — единственно, что может служить объяснением такого грустного факта. В числе поверивших находились и эти 10 человек. Раздраженные они приступили с допросом к Добролюбову, с вопросами неделикатными, обидными своей подозрительностью. Добролюбов оскорбился и вместо прямого опровержения клеветы, отвечал насмешками, что еще более их раздражало. Подозрение обратилось в уверенность и произвело ожесточение — ни я, ни Б[ордюгов], бывшие отчасти причиною невинной шутки, не могли убедить своих товарищей — нас не хотели слушать. Казалось, все чувство уважения, которое питалось к Добролюбову, вся товарищеская любовь, которую прежде каждый старался выка-

---

* Наперсниками [Р е д.].

** Начальство Институтское, как говорил мне недавно Тихомандрицкий, хлопотало о снятии долгов с дома Добролюбовых в Нижнем, после смерти отца Добролюбова, но об этих хлопотах мне никогда не приходилось слышать от самого Добролюбова, хотя мы с ним не раз говорили о его семейных делах.

зать к нему, все это обратилось в ненависть к нему. Шестеро студентов за несколько дней перед тем сняли фотографические портреты группою на память о себе; в числе снятых был и Добролюбов. Его портрет вырезывали из этой группы и рвали [22].

Между тем следствие продолжалось, и Давыдову приходилось плохо. Он вытащил свою скрытую артиллерию — кондуитные списки студентов. Об этих списках мы слыхали, что они существуют, но что в них записано, нам никогда об этом не говорили; ясно, что Давыдов мог во всякое время написать в них, что ему угодно. Но в этот раз он не прибавил в них ничего — и без того они все были исписаны. Самое тяжкое обвинение, с которым выступил Давыдов против студентов, опираясь на свои кондуиты — это карточная игра в те часы, когда шла обедня. О карточной игре я скажу несколько слов.

По уставу мы все должны были присутствовать за обедней и за всенощной. Эта обязанность казалось особенно тяжелою. Кроме других причин, она отрывала нас от занятий. Звонок, а потом шляющиеся надзиратели, гонявшие нас в церковь, заставляли скрываться в отдаленных уголках, куда начальническое око редко проникало. От скуки и от беспорядочного толкания из угла в угол — явились карты. Понемногу мы втянулись в эту игру и впоследствии предавались ей с азартом, не скрывая от своего начальства. Как только утренний звонок в воскресенье раздавался, книги прятались, мы уходили в столовую, садились за карты. Очень часто случалось, что начиная игру в 9 часов утра мы оканчивали ее в 10 вечера, т. е. тогда, когда звонок звал нас в спальни. Начальство сначала преследовало нас, потом делало легкие замечания и записывало в кондуиты; а мы слушали и смеялись, смеялись и играли. И вот карточная игра явилась обвинением против нас.

Следствие кончилось, но результата его мы не знали до самого акта. Только на акте узнали, что один из 10 получил старшего учителя и что несколько перемен сделано относительно раздачи медалей; остальное осталось попрежнему. После чтения отчета Вяземский сказал нам речь такого содержания:

«Гг. Многие из Вас в институте отличались беспокойным характером. В институте это терпелось, на это смотрели снисходительно. Теперь вы вступаете в жизнь, а в жизни это не терпится».

В одном углу раздалось «подлец!», в другом послышался нерешительный свист, но все замолкло в ту же минуту.

Только Давыдов подошел к Вяземскому и поклонился ему в пояс.

Чрез несколько дней мы разъехались по разным городам обширной Российской Империи. Добролюбов назначен был в Тверь, но остался в Петербурге, п р и п и с а в ш и с ь домашним учителем к князю Куракину.

ПРИМЕЧАНИЯ

Печатается впервые по автографу ИРЛИ. Шифр: 1944. VIII с. Княжнин, № 116. (Указание В. Н. Княжнина о публикации части воспоминаний в «Русской Мысли» 1914 г. ошибочно). В текст настоящей публикации не введены поправки Н. Г. Чернышевского. Последние были сделаны в целях придания более «цензурного» характера воспоминаниям, опубликование которых имелось в виду.

Воспоминания М. И. Шемановского до сих пор не были опубликованы и не вошли целиком в научный оборот, хотя и были неоднократно использованы рядом исследователей (Е. В. Аничков, В. Н. Княжнин, М. К. Лемке, М. М. Клевенский, П. И. Лебедев-Полянский). Между тем Шемановский—ближайший и интимнейший друг Добролюбова—знал многое такое, чего не знали другие. Его воспоминания являются важнейшим источником для биографии Добролюбова, тем более ценным, что они отличаются редкой и завидной точностью, почти не требующей исправлений. Написанные живо и увлекательно, они ярко характеризуют институтских друзей Добролюбова, обстановку в Главном Педагогическом Институте и эволюцию идей и взглядов критика.

[1] Об отношениях Добролюбова и Щеглова см. дневник, стр. 197—199 и 226—227. Ср. «Звенья», вып. III—IV, стр. 551—554. В 1862 г. (воспоминания Шемановского написаны около этого времени: см. стр. 275 наст. публикации) Чернышевским были опубликованы отрывки из дневников Добролюбова. Их и имеет в виду Шемановский.

[2] Эти стихи, не вполне точно прочтенные В. Н. Княжниным, вошли в изд. Аничкова (т. IX, стр. 2—3). Раскрыть некоторые фамилии редактор не сумел. Неизвестное нам сокращение «Л-ов» редактор читал как Львов, что вполне вероятно биографически, но невозможно по ритму. В списках студентов Гл. Пед. И-та не нашлось ни одной другой подходящей фамилии. Быть может, фамилия Львова и была употреблена в стихах, однако, в сочетании с еще каким-то словом, например, с его именем.

[3] Среди бумаг Добролюбова, хранящихся в Гос. Публ. Б-ке в Ленинграде, находятся черновые записи по коллективной подписке на журналы.

[4] Василий Иванович К е л ь с и е в (1835—1872)—писатель и революционер, впоследствии был амнистирован и жил в России; автор «Исповеди» — важного документа по истории революционного движения 60-х годов.

[5] Это заявление было подано, повидимому, в августе 1856 г. Текст его см. в изд. Е. Аничкова, т. I, стр. 98—101. Ср. в «Наставлении для студентов Гл. Пед. И-та» § 41: «При приемки муки, говядины, масла и пр. съестных припасов, равно и при отпуске кушанья за обеденный и ужинный стол, должны присутствовать дежурные из студентов» («Акт 25-го юбилея...» СПБ. 1854, стр. 175).

[6] Характеристика Сидорова целиком совпадает с тем, что пишет о нем в дневнике сам Добролюбов. Ср. стр. 211—219.

[7] Иосиф В р о н ь с к и й (1778—1853)—известный польский математик.

[8] Письма Паржницкого к Добролюбову публикуются в настоящем томе. В них, вопреки утверждениям Шемановского,—ряд сообщений о своем бедственном положении и просьб о высылке денег.

[9] Рудольф В и р х о в, Патология, основанная на теории ячеек. Целлюлярная патология. М. 1859. Издание редакции Московской Медицинской газеты (а не Медиц. Департамента). Кроме того Паржницкий вместе с еще некоторыми студентами Казанского Университета принимал участие в переводе «Руководства частной фармакологии» Clarus'a. Казань. 1863. Ср. «Материалы...», стр. 491.

[10] Шемановский имеет в виду крестьянские волнения в с. Бездне Казанской губ. в апреле 1861 г.).

[11] Л. Ф. С о л я р с к и й — священник, законоучитель Педагогического Института.

[12] Речь может итти о А. Левицком или В. Лукашевиче. О связях последних с Паржницким или кружком Добролюбова ничего неизвестно.

[13] Речь идет о подаче жалобы по поводу злоупотреблений в Медико-Хирургической Академии. См. в тексте воспоминаний.

[14] Рассказ Шемановского является наиболее подробным описанием известного эпизода со стихами на юбилей Греча. Некоторые дополнения см. в других публикациях наст. тома (стр. 303 и др.).

[15] Ср. описание смерти Николая I в статье Добролюбова в № 6 «Слухов», «Красный Архив», 1926, № 2 (15).

[16] Полный текст стихотворения был напечатан М. К. Лемке в 1922 г. См. «Книга и Революция», № 3 (15), стр. 37.

[17] Шемановский не решился даже в предназначенной только для Чернышевского записке привести текст этого стихотворения, рукопись которого была у него в руках. По этой рукописи, полученной у племянника Шемановского, стихотворение было опубликовано М. К. Лемке в названном выше издании. А д л е р б е р г - р ѣ г е—В. Ф. (1791—1884), министр императорского двора и уделов.

[18] Это объявление напечатано в «Моск. Ведомостях», 1856, № 111. Весь эпизод, подтверждающий точность рассказа Шемановского, изложен Добролюбовым в позднейшем письме к Н. П. Турчанинову («Материалы...», стр. 313 сл.) и в назв. статье в «Колоколе»: «Партизан И. И. Давыдов во время Крымской войны».

[19] Текст этого и следующих стихотворений (кроме «Газетная Россия» и «К портрету И. И. Давыдова») неизвестен. О «Слухах» см. прим. 10-е к воспоминаниям Б. И. Сциборского (стр. 316 наст. тома).

[20] Шемановский имеет в виду статью Е. Ф. Зарина («Библиотека для Чтения», 1862, № 1) о влиянии Чернышевского на Добролюбова. Чернышевский отвечал Зарину статьей: «В изъявление признательности» («Современник», 1862, № 2), в которой отстаивал самостоятельность взглядов Добролюбова. См. в настоящем номере «Литературного Наследства» публикацию В. А. Сушицкого «Чернышевский о Добролюбове».

[21] В это время Добролюбов переводил лирические стихотворения Гейне.

[22] См. прим. 14-е к воспоминаниям Б. Сциборского (стр. 317 наст. тома).

II. Б. И. СЦИБОРСКИЙ

ВОСПОМИНАНИЯ О Н. А. ДОБРОЛЮБОВЕ

[ПИСЬМО К Н. Г. ЧЕРНЫШЕВСКОМУ]

10 февраля 1862 г.

Глубокоуважаемый

Николай Гаврилович!

Извините мне, что своею медленностью я заставил Вас писать ко мне. — Мне хотелось собрать по возможности большее количество материалов, относящихся к дорогой для нас личности Николая Александровича; но моя неаккуратность в сбережении писем была причиною того, что по крайней мере из 15-ти писем я мог отыскать два-три и несколько записочек, не заключающих в себе ничего особенного [1]. Кроме того, в своих тетрадках институтских я нашел отрывок из его дневника, попавший туда, как припоминаю теперь, довольно случайно; именно: во время болезни Н. Ал. (это относится к декабрю 1855 года) [2], когда он находился в больнице, ключ от его ящика, а также и некоторые его бумаги находились у меня на сохранении. В часы, свободные от занятий, я навещал его, приносил ему нужное и брал от него бумаги, которых нельзя было держать в больнице. Во время посещений он передавал мне на сохранение и листки своего дневника, и в одно из таких посещений (вероятно это было пред лекцией), получивши листки дневника, я вложил их в тетрадь, где они оставались нетронутыми до сих пор. — Отрывок, как сами увидите, чрезвычайно характеристический [3]. Прочитавши его, я живо припомнил себе то время, когда вопросы о судьбе нашей родины поглощали все наши мысли и чувства, когда над нами еще не тяготело сознание своего бессилия в борьбе за честные убеждения, когда мы верили, что наше вступление на поприще общественной деятельности ознаменуется переворотом, который поведет все общество по пути разумному. Мы думали, что наскажем миру много-много новых истин, выработанных нами в тесном кружке институтском. — И нельзя сказать, чтобы мы не работали над этим. Правда, нас было немного — человек десять, преданных делу будущности, сознавших, что сухие лекции большей части наших почтенных профессоров и деспотические требования начальства в исполнении самых мелочных формальностей должны стать у нас далеко на второй план, а что нам нужен самостоятельный труд и прежде всего работа над самими собой — поверка прежних наших впечатлений. В числе наших товарищей, действовавших в таком духе, Н. Ал. был самым решительным, самым энергическим и чрезвычайно влиятельным деятелем. Вокруг него всегда, бывало, собирался кружок любивших и уважавших его товарищей; даже и враги его по убеждениям всегда относились к нему, как к человеку, который гораздо выше их стоял по своим честным стремлениям и по уму. А врагов у него было немало, особенно в последнее время институтской жизни, когда направление его ясно обозначилось. В первое же время своего пребывания в Институте Н. Ал. отличался необыкновенною уступчивостию и мягкостию в обращении со всеми, не обращая внимания на нравственные достоинства личности. Это, как он сам говорил, вытекало из его личного убеждения, что на всякого нужно прежде всего смотреть, как на человека, а потом уже судить о степени его развития и о достоинстве его направления. Впоследствии он изменил это убеждение на том основании, что не всякое животное на двух ногах и с наружными чертами человека можно назвать человеком, если в нем замечается полнейшее отсутствие отличительных признаков человечности — сознания, разумности и честности. Впрочем в характере его всегда оставалась мягкость и симпатичность.

10 февраля
1862 года

Глубокоуважаемый
Николай Гаврилович!

Чувствуете ли, что всею глубиною
я заставил Вас писать ко мне? — Мне
хотелось собрать по возможности больше
количество материалов, относящихся к дороге
на пользу инвалидов Николая Александровича;
но моя неаккуратность в сбережении писем была
причиною того, что покровский ларец при 15-ти писем
я мог объехать в Екатеринбурге Николаевских
чиновников, не захватив в свой ящик ничего особенного.
Кроме того в своих тетрадках некоторых
я нашел обрывки чего-то лишнего, попавшие
туда, как приложенная теперь, довольно слу-
чайно, именно: стихотворение Боткина Н. Ал. (это
относится к декабрю 1855 года), когда он гостил
в Боровицах, откуда он ездил, а дальше
некоторые его шутки, забавлявшие у меня

ПИСЬМО Б. И. СЦИБОРСКОГО К Н. Г. ЧЕРНЫШЕВСКОМУ ОТ 10 ФЕВРАЛЯ 1862 г.
ПЕРВАЯ СТРАНИЦА
Институт Литературы, Ленинград

Его желание сближения со всяким многие вменяли ему даже в недостаток, приписывали индиферентизму в убеждениях; но как после оказалось, — это делалось с целью пропаганды тех истин, которые уже уяснились в кружке, но против которых всегда было большинство. Такой же точно образ деятельности впоследствии принял и весь кружок, когда сознана была необходимость распространять что-нибудь, по мнению кружка, новое. Особенно, когда являлись новички в наш Институт, деятельность кружка принимала значительные размеры: со всяким старались ознакомиться, выпытать, что это за человек, и при этом, обрисовавши обстановку институтской жизни с ее властями, сообщить, что и в тесных стенах Института есть возможность добраться до истины — стоит только самостоятельно работать, не подчиняясь влиянию начальнических одуряющих партий. А партий в это время у нас таки довольно было: была партия директорская, отличавшаяся изящными манерами и крайнею пустотой; была партия инспекторская и смирновская [4] — богатые расчетами получить теплое местечко и какую-нибудь медаль при выпуске, — партия, изготовляющая все по заказу, но без толку, совершенно равнодушная ко всякому живому и честному делу; были люди и незапятнавшие себя идолопоклонством, не принадлежавшие ни к кому и ни к чему, но мирные труженики науки, строгие блюстители порядка, хотя и недовольные этим порядком, однако не заявлявшие вражды никому и ничему. Наконец был кружок ненавистный властям, клеймившим его головорезами, алчными крокодилами, либералами и другими позорными кличками. Это были отъявленные враги существовавших тогда порядков в Институте, изо всех сил бившиеся из-за того, чтобы дать понять начальству всю нелепость их [sic! — *С. Р.*] мелочных требований — за отступление от правил институтских; развить в себе способность отзываться всей душой на всякое требование века, понимать современное движение мысли, осмыслить приобретаемые знания разумным пониманием отношений их к жизни — было главною задачею работ этого кружка. Разумеется, Н. Ал. был душою этого кружка. В большинстве случаев ему принадлежала инициатива в рассмотрении вопросов, которые действительно уясняли взгляд на вещи; большею частию он первый подавал голос для протеста против злоупотребления властей наших; он был одним из энергических деятелей в распространении разумных взглядов на жизнь и отношения нашего к окружавшим нас личностям. За то и доставалось ему от властей. Сколько неприятностей, сколько наглых выговоров и самого грубого обращения нужно было перенести, чтобы искупить самые благородные и честные поступки. Бывало, как только какая-нибудь власть заметит, что Н. Ал. или кто-нибудь другой из этого кружка разговаривает с новичком, то сейчас же со стороны власти следовало предостережение новичку, что с этими людьми опасно знаться, что их следует бегать, как чумы, если только он хочет быть на хорошем счету у начальства. Между тем замеченный в разговоре с новичком награждается косыми взглядами, отворачиванием и нелепейшим при первом ничтожнейшем случае выговором: «вы Гоголя начитались, позволяете себе судить о начальстве и даже сплетничать про него, — во всем этом ваш Гоголь виноват»,—обыкновенно заключал один из начальников, прославший знаменитым математиком [5].—Разумеется, подобные замечания могли возбуждать только смех; но кроме их приходилось выслушивать тысячи таких пошлых, грязных замечаний, пересыпанных площадной бранью, которые невольно приводили в негодование. Впрочем и в подобных случаях легко было успокоиться составившимся между сочувствующими товарищами убеждением, что всякий выговор нашего начальства — это похвала; — и тот, кто совершенно спокойно выслушивал его, без сомнения, в глазах друзей мог считаться порядочным человеком. — Все эти черты из жизни институтской сами по себе так ничтожны, что о них, пожалуй, и говорить не следовало бы; но в массе

они производили такое впечатление, что до сих пор не изглаживаются из памяти. Бывает же в жизни такая обстановка, о которой рассказать нечего по микроскопичности явлений, совершающихся в ней, — возьмешь один случай, другой — да и невольно приходишь к заключению, что все это такие пустяки, которые ни для кого никогда не могут иметь никакого значения; между тем эти пустяки в совокупности, беспрерывно повторяясь, производят такое одуряющее тяжелое впечатление, образуют такую удушливую атмосферу, что, освободившись от нее, сам удивляешься, как это можно было вынести в продолжение четырех лет всю тяжесть самых пошлейших стеснений, самых нелепых требований. Сколько, например, нужно было терпения, чтобы поставить себя в совершенно безразличные отношения к тем людям, к которым мы явились с желанием поучиться чему-нибудь и которых большинство действительно признавало людьми честными и даже очень-очень учеными. К сожалению, я не могу представить богатого запаса курьезных фактов с обозначением чисел, лиц действовавших и другими подробностями, которые ярко могли бы обрисовать ту обстановку, в борьбе с которой нужно было много энергии, чтобы почувствовать себя независимым хоть внутренно, при страшнейших стеснениях и зависимости извне.

Благодаря искусству наших властей осматривать запертые ящики, в которых хранились всякого рода бумаги, между прочим и такие, которые хотя имели и прямое отношение к начальству, но тщательно скрывались от него из боязни преследований, — многие из нас должны были или держать свои бумаги вне Института в чужих руках, или сжечь их. В жертву пламени принес и я свой дневник, из которого теперь мог бы почерпнуть факты с указанием места, времени и проч. для того, чтобы хоть сколько-нибудь характеризовать те обстоятельства, которые в продолжение четырех лет тяжким гнетом давили личность Н. Ал... Кстати, расскажу здесь, как он сам однажды горько пострадал за то, что плохо спрятал от начальнической заботливости свои бумаги. Было это во время лекции, когда все студенты находились в аудитории; наш «отец» (так называл себя наш начальник [И. И. Давыдов] в отношении к нам) отправился по ящикам обыскивать, нет ли там чего-нибудь противного ему. К полному своему удовольствию он нашел в ящике Н. Ал. какое-то черновое письмо [6]. Этого «о т ц у» нашему достаточно было, чтобы изобразить собою грозного олимпийского бога и настращать смертного всевозможными карами небесными и земными. Но страшный гнев и угрозы без особенной причины сменились на отцовскую милость, о которой смертные обыкновенно немного хлопотали. Кончилось тем, что Н. Ал. засадили на несколько дней в больницу, куда обыкновенно отправлялись провинившиеся на том основании, что преступивший волю нашего благодетельного начальства не мог считаться человеком в нормальном состоянии—ему необходимо было исцеление. Лечение же там было по преимуществу духовное; сам наш отец-благодетель принимал на себя обязанности врача. Обыкновенно в 12 часов ночи отправлялся туда в сопровождении одного из гувернеров из предосторожности несчастного какого-нибудь случая, поднимал с постели преступника и обращался к нему с такой речью: «вы преступили устав заведения (здесь поименовывался род преступления — курение, несвоевременное возвращение в Институт и проч.); вы этим оказали неуважение к благодетельствующему вас начальству и уставу того заведения, которое, так сказать, дарует вам жизнь. Вам известно, что начальство и устав утверждены высочайшею волею, следовательно, вы преступник и против государя. Вы знаете также, что высочайшая особа избрана самим богом, следовательно, преступник и пред богом. Таким образом вы виновны пред заведением, пред начальством, государем, пред богом и наконец пред всем человечеством, которое признает неприкосновенность и святость всего того, против чего вы преступили. Теперь понимаете важность

вашего преступления? Думали ли вы когда-нибудь о том что вы сделали?..» и т. д. — Речь, начавшаяся цицероновским красноречием, в котором был так искусен оратор, обыкновенно переходит в красноречие квартальных; вежливое в ы заменяется грубым т ы с прибавлением эпитетов Сенной площади; потом опять речь принимает различные оттенки, смотря по впечатлению ее на преступника — и обыкновенно заканчивается потоком площадной брани... Окончание обыкновенно тогда следует, когда оратор уже выбился из сил, признаком чего служит засыхающая пена у рта... Сидеть в больнице еще не большая беда: тоска одолевает — и только; но принимать духовное врачевание — это было такое жестокое наказание, хуже которого хитро что-нибудь придумать. Кажется, согласился бы на все — целое ведро касторки готов бы выпить, лишь бы избавиться от духовного врачевания отцовского. И безмолвное лицемерие отца-благодетеля не могло доставить большого наслаждения для любящих его детей, а тут присовокупите еще его красноречие медоточивых уст — можно себе представить, какая это была пытка. Такой-то пытке подвергался Н. Ал. в этот арест несколько дней сряду, после чего считался обновленным и спасенным, благодаря притом ходатайству г. [С. П.] Галахова, хорошего знакомого Н. Ал-ча. Я привел один из довольно обыкновенных примеров обращения начальника со студентами; между тем подобные истории повторялись таки часто: случалось иногда, что в продолжении нескольких недель только и слышишь из уст начальнических, что слова духовного врачевания — невеселая жизнь — право... Разумеется, были люди, которые, кроме любезностей и похвал ничего другого и не слышали от властей; но те отказались от всей личности: для них нужны были похвалы, которые давали возможность впоследствии воспользоваться хорошей рекомендацией — теплым местечком и т. подобными благами мира сего, а ведь они только того и добивались, принося в жертву все, чем юность хороша — все лучшие стремления, все надежды и желания быть в жизни хоть кому-нибудь в чем-либо полезными. Задача их была очень несложна: для решения ее можно было и ничего не делать, но необходимо было отказаться от многих благороднейших стремлений человеческих, а это, думаю, тоже чего-нибудь да стоит... — Поэтому, как только нашлись такие личности, остальным, отказавшимся последовать их примеру, очевидно, трудно было бороться с требованиями начальства... Между тем борьба была делом совершенно законным и неизбежным... — считаю лишним здесь разбирать все возмутительные мелочи, которые поневоле вызывали отвращение к институтским порядкам, — да притом о них частию сказал свое слово сам Н. Ал. в рецензии акта Гл. Пед. Института, помещенной в «Современнике» [7]. Тревожить воспоминаниями бывших начальников наших благодетелей я тоже не решусь по причинам, о которых легко догадаться, хотя не лишним было бы вспомнить кой о чем, чтобы объяснить сколько приходилось вытерпеть Н. Ал. и каждому из нас, хоть бы для того, чтобы не запятнать себя идолопоклонством, которое так нравилось начальству нашему. Притом же, говоря о таком высоком предмете, как начальство, я должен был тут же говорить и о таких низких предметах, как пироги, сбитень, соус под червяками и т. п. (что довольно часто служило поводом столкновения и неприятностей с властями), — между тем как такое сопоставление высоких предметов с низкими я пока еще не допускаю, считая это унижением и неблагодарностью с моей стороны в отношении своих благодетелей... [8] — Я думаю, что в дневнике Н. Ал. найдется довольно фактов, которые дадут некоторое понятие о том, о чем я не решаюсь при настоящих обстоятельствах говорить... — Вместо того я укажу, насколько в письмах это возможно, на главнейшие моменты переворотов в понятиях Н. Ал.

Прежде всего, как только начали сгруппировываться кружки ме-

жду нашими товарищами (где говорится о товарищах, я разумею всегда собственно наш курс и некоторых из низших курсов; курсы высшие всегда держались от нас с подобающею важностью в стороне), кружок, к которому принадлежал Н. Ал., принялся за рассмотрение вопросов внутренней жизни — вопросов о наших верованиях и т. п. Оно и понятно: замкнутые в четырех стенах, незнакомые с общественною жизнью, которая могла бы развлекать нас, давая нам, может быть и очень пустой материал для толков, мы очень естественно обратились к поверке прежних впечатлений. Так как между нами встретились люди, останавливавшиеся уже на этих вопросах, и были такие, которые в простоте сердечной считали эти вопросы неприкосновенными, то очевидно споры и рассуждения на эту тему были неистощимы и даже иногда доходили до увлечения. Всякому тяжело было расставаться с многими, хотя и нелепыми верованиями, но дорогими по воспоминаниям: казалось, что человек сросся с ними, что они обратились в плоть и кровь и составляют что-то нераздельное с его существом; но между тем чувствовалось, что необходимо было подвергнуть всю эту дребедень критике строгого рассудка,—и как только начиналась эта работа, весь ребяческий бред оказывался несостоятельным и даже смешным. Переход от одного направления к другому совершался хотя с большими трудностями, но довольно быстро при взаимном содействии симпатизирующих товарищей; от прежнего чада оставались в душе не очень глубокие следы, которые скоро и совсем сглаживались под наплывом впечатлений новых, свежих, разумных. Отрезвленные новым направлением, некоторые принялись за распространение разумных идей в массе. Сопротивление со стороны товарищей, как и следовало ожидать, было сильное; большинство, даже не возражая на предложенные мысли, обыкновенно отвечало фразами, которыми всегда и везде отвечают, если дело касается вопросов, выходящих из рутинных понятий: «все это либеральничанье, обезьяничество; начитались различных книжонок и давай дичь молоть».— Да, легко было отделываться подобными фразами тем, которые не испытали, каких усиленных трудов стоит человеку отрешиться от различных нелепостей, навязанных из детства, и заместить пустоту хоть чем-нибудь разумным. Но было трудно вступать в споры с подобными людьми, которые и не хотят спорить; на все разумные доводы они отвечают молчанием и стараются от соблазна сказать хоть одно слово. Нужно было действовать насмешкою... Н. Ал. был всегда мастер на это,— и часто обскурантам доставалось-таки от него: обыкновенно в серьезных вопросах он никого не щадил. Но и насмешка оказывалась недействительною. Дело доходило до того, что чуть не силою заставляли оспаривать различные нелепости. Наконец случилось, что один из товарищей, на которого налегали таким образом, сказал священнику на исповеди, что его совращают с пути истины... Правда, из этого ничего не вышло особенно дурного ни для кого; но подобный факт ясно показал, что у некоторых бывают так крепко устроены лбы, что светлый луч разума никак не прошибет их. Это увлечение довольно скоро прошло и впоследствии на эти вопросы все уже смотрели с полнейшею терпимостью и даже уважением.— Вопросы из мира верований сменились вопросами политическими... — Здесь открылся новый богатый материал для прений. В этом случае требовался запас исторических фактов, которыми все были очень бедны: нужно было читать и читать. Но где было взять книг, пригодных для этого дела? Как все это недавно было — еще и шести лет не прошло,— а как переменились обстоятельства. Каких трудов, например стоило достать хоть сколько-нибудь порядочную книжку. Теперь, может быть, каждый из нас имеет под руками то, что прежде доставалось с громадными трудностями, с страшным риском. И теперь мы не можем похвалиться свободою выбора книг,— но что прежде было, особенно в четырех стенах Института,— это и представить себе трудно...

Н. Ал., имевший в то время несколько порядочных знакомств, оказал нам в этом случае значительную услугу... Полученная книга с жадностию и с наперед заготовленным доверием к ней прочитывалась в кружке и была предметом очень серьезных толков, пока наконец, факты заимствованные из нее, не проходили чрез критику читателей... Если же эта книга была на одном из иностранных языков, то, смотря по достоинству ее, иногда общими силами переводилась буквально вся и после прочитывалась в кружке, иногда же читалась для всех, владевших этими языками, вслух по-русски, а часто один кто-нибудь брался за прочтение всей и перевод замечательнейших мест и потом в кружке подробно излагал содержание ее и прочитывал переведенные отрывки... Н. Ал. в этом случае был одним из ревностнейших и трудолюбивейших деятелей. Я думаю в его бумагах и теперь можно было бы найти следы этих трудов... [9].

Нужно заметить, что в то время, когда с особенным старанием кружок уяснял себе взгляды политические, в обществе петербургском слышалось много разнообразных толков, то про злоупотребления в Крыму, то про освобождение крестьян, то про другие тогда случившиеся события; но все это носило на себе характер какой-то тайны, так что до истины трудно было добраться. Каждый день кто-нибудь, побывавши в городе, приносил в Институт богатый запас новостей, сообщение которых возбуждало живой интерес в следивших за общественной жизнью. Чтобы из этого хаоса можно было вывести какое-нибудь общее заключение, решились вести еженедельный листок, в который вносились все события крупные и различные слухи, пропущенные по известным причинам нашими газетами. Редакцию и главное сотрудничество принял на себя Н. Ал. Название листка было «Слухи» с эпиграфом: «Слухом земля полнится» [10]. Передавать содержание листка — нет возможности как потому, что я частию забыл, что внесено было туда, так и по свойству занесенных туда фактов. О направлении и цели «Слухов» я постараюсь в нескольких словах изложить мнение самого Н. Ал., высказанное им в первом номере листка. Я берусь почти буквально передать взгляд Н. Ал. на это дело и ручаюсь за верность передачи. Делаю это как потому, что не приходилось еще в письме этом поближе коснуться убеждений Н. Ал., так и потому что из приведенного мною отрывка можно будет хоть сколько-нибудь судить о тогдашнем его направлении... Начинает он свою статейку тем, что нам необходимо изучение и понимание исторических фактов из жизни народа. Но, — говорит он, — известия этого рода все еще мертвы, неполны, некрепки. Наши познания в этом отношении все еще темны и сбивчивы. Это явление, очевидное для всякого и кажущееся несколько странным, объясняется однако очень просто. Наука в России имеет дело только с официальными фактами, только с тем, что записывается в акты, что определяется весом и мерою, годом и днем. Оттого-то она и знает только, что в таком-то часу, такого-то числа загорелся в таком-то квартале такой-то дом и сгорел. А кто там жил, что потерял от пожара, какое влияние имело это бедствие на судьбу несчастного, что он спас и что потерял и проч. — это вещь совершенно посторонняя для исторической полиции. Да и негде разыскать это; разве остановиться на улице и послушать, что толкуют в народе; но об этом никто и не думает. А между тем здесь-то и материал для истории. Так называемое общественное мнение — не есть ли выражение духа, направления и понятий народных в ту или другую эпоху? А ведь оно не записывается, потому что стараются писать только вещи известные, интересные. А кто же станет писать или даже читать то, что всякий знает и всякий сам высказывает? Оттого-то, если твердят нам, что Россия цветет, а запад гниет, что в России покровительствуют просвещению, что мы все двигаемся вперед, что Ф. В. Булгарин страж чистоты русского языка, то наверное можно сказать, что эти вещи весьма и весьма сомни-

тельного свойства. Не пишет же ведь никто трактатов о том, что человек имеет на руках по пяти пальцев, что большая часть наших граждан проводит жизнь в воровстве, что К. мошенник, что в..., начиная с N, почти все ослы и дураки и т. д., — а не пишут оттого, что трудно найти человека, которому бы эти истины были новостью. Оттого-то и слухи также быстро исчезают, как и появляются. Говорят о предмете до тех пор, пока полагают, что не все еще знают о нем; как скоро известие облетело всех — его тотчас оставляют и забывают. Таким образом каждый день являются новые вести, сплетни, мнения, задачи, решения, вопросы, ответы — словом с л у х и каждый день, они исчезают и заменяются другими, так что и записать их не успевают. А между тем сколько живых, резких характеристических черт в этих эфемерных явлениях и разговорах. Это не мертвые числа и буквы, не архивные справки, не надгробная надпись умершему — нет, это самая жизнь с ее волнениями, страданиями, наслаждениями, разочарованиями, обманами, страстями,— во всей ее красоте и истине. Неделя этой жизни поучает нас более, нежели семь томов мертвой статистики. Десяток живых современных черт объясняют историку целый период гораздо лучше, нежели 20-летние изыскания в архивной пыли, где он найдет только блестящие реляции о темных делах,— указы, которые никогда не исполнялись, да следствия, в которых невозможно отыскать причины. Человек — не машина для письма; жизнь его — не в канцелярских бумагах, на которые так сильно сбивается у нас история и литература. Конечно, из нашего народа не сформировался еще полный человеческий тип, но все-таки нельзя отвергнуть того, что он сформируется, хоть понемножку, хоть незаметно, а сформируется... и тем интереснее должно быть для нас следить за его начинающимся развитием, тем поучительнее п о с л у ш а т ь, как он рассуждает, как он понимает вещи не в учено-литературной канцелярии, где он переписывает чужую резолюцию, а в частной жизни — дома, в гостях, в театре, в церкви, на улице, на рынке, — везде, где только может он выразить свое личное настроение и понимание. Тем более подслушаем таких откровенных рассуждений, рассказов, отдельных мыслей и впечатлений, тем яснее нам будет истинный дух народа, тем понятнее будут его стремления, его чувства, тем полнее и осязательнее представится нам картина народной жизни. Что за беда, что все эти мысли будут нам известны и следовательно скучны каждая порознь, зато значительное их собрание может впоследствии повести нас к соображениям, которые без того не пришли бы в голову, может обратить наш взгляд на такую точку, которой бы мы и не приметили. Не всемирно-историческое значение имеет то обстоятельство, что один человек умер в судорогах, другой—тоже, третий тоже и т. д., а собрали сотни и тысячи подобных фактов, и увидели, что это — cholera morbus *. Может быть и собранные нами слухи приведут умного человека к открытию какой-нибудь хронической болезни в нашем народе, может быть позднейшие врачи заглянут в наш ensemble ** слухов, в которых должна открыться современная нам жизнь с внутренней ее стороны. Не будем же слишком эгоистичны, не станем отвергать слухов только потому, что они известны. Поделимся с другими своим знанием, сохраним для потомства наши мысли,— пусть оно увидит, что мы жили или по крайней мере хотели жить. Может быть, в записки свои мы внесем ложные слухи; может быть, займемся ничтожным и опустим важное; но и в этом отразится жизнь. Только машина может работать с неизменною, размеренною правильностию и верностию. На ее стороне преимущества скорости, ровности, верности и проч. Но где замешается дело мысли, там живой человек всегда гораздо

* Холера [Р е д.]
** Собрание [Р е д.]

лучше, — за доказательствами нам далеко ходить нечего: наши товарищи в этом отношении представляют поучительный пример. — Но дело, за которое мы беремся, легкое само по себе, становится трудным и даже опасным по своим последствиям. Нужно быть беспристрастным — записывать все, что только слышишь, — а ведь мало ли что говорят? Заочно и про наших знаменитостей и вообще всякую знать говорят не совсем приличные вещи, а писать про это еще почти никто не писал безнаказанно, кроме автоматов. Притом народ ведь все с самолюбием у нас в России: все хотят сами делать, а другим не позволяют. Сделает человек глупость — и ничего; а только другой начнет говорить о ней — беда — как смел!!! — Уж и этой-то чести не хотят уступить другому. «Это — дескать — м о я глупость, я ее сделал и никому не позволю повторить». Попадись наш листок в такие руки — запретят, пожалуй, и писать нам. Это еще, впрочем, беда не так велика «с л у х и» разойдутся в тысяче экземпляров, как все запрещенное: но вот беда, если запрут куда-нибудь, — тогда уж совсем плохое дело — материалов не будет, а из ничего не будет ничего. Выдумывать же слухов невозможно, потому что это противоречит цели листка. Но и здесь есть утешение: будем припоминать, что давно слышали, короче сказать — при нашей твердой решимости нас ничто не может остановить, пока живы будем, пока в нас не пропала жажда деятельности, пока не убиты в нас благороднейшие стремления сделать что-нибудь для блага человечества, — а энергии и неугомонной пытливости, кажется, нам не занимать стать. Мы чувствуем, что теперь начинается замечательнейший период в истории России, — материалов много. Вопрос о крестьянском праве много занимает умы и разговор о нем сделался до того общим, как прежде разговор о Севастополе, так что почти вытеснил пресловутый разговор о погоде и здоровье. Это ничего — пусть говорят, — договорятся до чего-нибудь. — Если мы убеждены, что основание нашей гражданской жизни составляет низший класс народа, то нужно действовать на него, но не поджигательными средствами, не на страсти его, а на его сознание, — это хотя и длинный путь, но зато верный и благотворный по своим результатам; нужно раскрыть ему глаза на настоящее положение дел, пробудить в нем спящие силы души, внушить ему понятия о достоинстве человека, об истине и добре, об естественных правах и обязанностях — словом, просветить его, — и лишь проснется да повернется русский человек — стремглав полетят враги его, усевшиеся на нем...

Останавливаюсь на этом, как потому что последующие предположения еще не современны и могут показаться мечтою, так и потому что дальнейшая характеристика взглядов тогдашних Н. Ал. может быть не так буквально передана мною; — все, что я говорил за Н. Ал., взято мною из нескольких лоскутков моего дневника, уцелевших случайно между бумагами. Как припоминаю, страницы эти были писаны мною по прочтении первого номера «С л у х о в», так что здесь могут встретиться даже подлинные выражения Н. Ал.[11]. — Мне кажется, что даже из этого коротенького отрывка, какой могут поместить тесные страницы письма, не трудно составить себе некоторое понятие о тогдашнем направлении Н. Ал.

[При более благоприятных условиях я надеюсь представить Вам более полную характеристику с значительным количеством фактов, хотя по памяти, но за достоверность которых я могу ручаться всем. Не знаю, какое впечатление произведут на Вас сведения о «Слухах», но во мне] * приведенные мною строки о наших «Слухах» пробудили тысячу воспоминаний о том времени, когда мы все были гораздо лучше, нежели теперь, когда у нас было столько надежд и добрых стремлений, — и может быть один Н. Ал. больше всех нас приблизился к тем целям, к которым все мы так нетерпеливо стре-

* Заключенное в квадратные скобки в рукописи зачеркнуто [Р е д.]

мились. Но судьба неумолимая, как будто в насмешку над нами, прекратила и его деятельность, как бы желая доказать нам, что благородные стремления и энергия не в состоянии устоять против нелепостей жизни. Здесь сам не знаешь, кого винить в этой борьбе; но мне кажется, что у нас все-таки сберегло еще достаточно силы на всякое благородное дело и чтобы если бы... Но я увлекся посторонним предметом; между тем нужно кончить о «Слухах». Независящие от редакции обстоятельства похоронили листок, кажется на 12-м нумере [12]. Эти нумера Н. Ал. подарил на память одному из наших товарищей — Львову.— К литературным произведениям институтским Н. Ал. относится еще значительное количество стихотворений, написанных преимущественно на разные случаи. Многие из них приняты были с восторгом институтскою публикою, списывались и в рукописях распространялись между студентами. Редкие догадывались, что они принадлежали Н. Ал., который скрывался тогда под псевдонимом Будилова. Интерес этих стихотворений заключался впрочем не в том только, что они относились к известному событию или личности, но преимущественно в меткой характеристике предмета и оригинальности мыслей. У меня было списано более десятка его стихотворений; но, благодаря некоторым обстоятельствам, в настоящее время едва ли сыщется два-три, да и то не из лучших. Я не сумел сберечь даже того стихотворения, которое Н. Ал. подарил мне на память, и теперь помню только первый куплет его,— кажется, он так начинался:

Зачем вы связали мне руки?
Зачем спеленали меня?
Зачем на житейские муки
Меня обрекаете с первого дня?.. [13]

Впрочем, если бы и была возможность собрать все его стихотворения, то при напечатании их встретилось бы много препятствий: большую часть их, а именно самую лучшую, положительно нет никакой возможности издать по несовременности их содержания; даже самое невинное стихотворение из этого отдела на юбилей Н. И. Греча, я думаю, не позволят напечатать. Из небольшого числа тех, которые можно издать без затруднений, есть несколько очень замечательных, как по содержанию, так и по выполнению.

К числу институтских же литературных произведений Н. Ал. нужно отнести также различные проекты, очерки институтской жизни и т. под.; несмотря на свой большею частию, так сказать, местный интерес, они отличались строгим анализом явлений этой жизни, богатством фактов и верною характеристикою личностей. Жаль, что из произведений этого рода ничего не сохранилось; между тем они очень пригодились бы для полного объяснения обстоятельств, сопровождавших пребывание Н. Ал. в Институте. У меня, впрочем, между бумагами отыскался небольшой отрывок одного довольно подробного описания экономического быта нашего заведения. Посылаю Вам этот отрывок: может быть Вам пригодятся некоторые данные для объяснения материального быта нашего; жаль, что сохранилась такая незначительная часть; целое содержало бы в себе очень подробный отчет о наших экономических средствах [14].

Припоминая дорогую личность Н. Ал., я не могу в коротких словах всецело воссоздать характер ее, как потому что личность его так чрезвычайно многосторонняя, что трудно сразу обнять все разнообразие ее особенностей, так и потому что, обращая внимание на одну какую-нибудь сторону ее, невольно увлекаешься полнотою ее развития,— кажется, что вот здесь весь полный отдельный человек, — как мы привыкли его видеть, и забываешь, что есть такие богатые натуры, которые совмещают в одной себе

столько редких особенностей так высоко развитых, что, если бы каждую из этих особенностей порознь приписать отдельным личностям, то мы могли б получить много прекрасных, высоких личностей, которых назвали бы благороднейшими, умнейшими, честнейшими и другими лучшими качествами природы человеческой.

О степени образования и умственного развития Н. Ал. я, разумеется, не стану говорить, потому что для объяснения с этих сторон личности его недостаточно сказать несколько слов: для этого необходим обширный и добросовестный труд, соответствующий обширности предмета. Да притом можно ли об этом много распространяться, когда всему читающему люду известно богатство образования и талант Н. Ал... Я попробую указать на менее известные стороны характера Н. Ал. хоть, например, на его гуманные чувства, на его теплоту душевную. Указывая на широкое развитие этого чувства в личности Н. Ал., я не впаду при этом в лирический восторг: сам он делал услуги молчаливо, без восторга, но с задушевным участием, как исполнял свой долг, который налагала на него сила убеждений и доброта сердца; в его натуре даже не было возможности отказать кому-нибудь в чем-либо, если представлялся самый ничтожный случай для того, чтобы подать руку помощи...

Но чтобы лучше объяснить, до какой степени развито было в нем сочувствие к ближнему, я укажу на факты. Правда, припоминая время институтской жизни, я не найду там громких подвигов геройского самоотвержения,— они там и невозможны были по мелочности обстановки этой жизни;— но и в таких будничных, темных явлениях иногда высказывается человек многостороннее и полнее, чем на обширном поприще общественной деятельности. — Сделаю наперед оговорку, что большинство наших товарищей был народ беднейший в отношении материальных средств: некоторые в продолжении всей институтской жизни не получали ниоткуда ни гроша, между тем всякий человек имеет вопиющие нужды, которые требуют неизбежного удовлетворения, которых, впрочем, не имело в виду и само начальство и для которых недостаточен был казенный вес и мера.— Возьмем хоть то, повидимому, ничтожное обстоятельство что содержание у нас было до крайности неудовлетворительное во всех отношениях,— например, в отношении к пище: тот, кто не имел своих денег, чтобы запастись съестными припасами хоть булкой, — тот принужден был терпеть страшнейшие мучения голода. Но положим, что эта потребность не заслуживает того, чтобы много хлопотать об удовлетворении ее, — согласимся даже, что начальство было право, придерживаясь древнего изречения, что satur venter non studet libenter * — и даже оказало нам пользу, отказывая нам в необходимом удовлетворении первой потребности жизни.— Но ведь было множество и других потребностей, отказать которым значило отказать себе в возможности следить за образованием, за ходом литературы и т. под. Так, например, выписка журналов, газет, книжек, которых нельзя было найти в библиотеке и проч. (журналы из нашей библиотеки можно было получать только за старые годы; новые читались исключительно начальством, которое могло бы, кажется, и на свои деньги выписать все это, а собственность казенную следовало бы по всем соображениям предоставить в пользу студентов, лишенных средств для приобретения таких дорогих предметов), — разве подобный расход ничего не значит не только для людей, лишенных всех средств, но и даже для тех, которые стеснены в средствах? Для других пять-шесть рублей — ничтожная сумма; но для того, кто не имел ни копейки и даже не мог иметь — это богатство Креза, — где взять эти пять-шесть рублей?— Являлась, например, необходимость вне Института

* Сытое брюхо к учению глухо [Ред.].

без стеснений потолковать об интересовавших нас предметах, на свободе почитать книжку, которой в Институте нельзя было читать беспрепятственно; для удовлетворения этой потребности нужно было, хоть под предлогом празднования чьих-нибудь выдуманных имянин нанять на несколько часов квартиру, а для этого также нужны были деньги,—а где их было взять неимущему? — Подвергались, например знакомые нам студенты ссылке в отдаленные места при чрезвычайно трудных условиях, лишенные даже того, что мы имели, как не выразить сочувствия к благородным людям хоть чем-нибудь? Как не помочь гонимым за правду?— а где взять средств для помощи?... Пишет, например, товарищ из Казани, что там чуть не умирает с голода 60-летний старик, пробывший 25 лет в каторге и теперь получивший амнистию, возвращающийся на родину в далекие западные губернии, где, впрочем, нет у него ни родных, ни крова; да притом и сам он, изнуренный тяжкими работами каторги, едва-едва двигается, будучи не в состоянии заработать себе кусок хлеба, или просить милостыни у каждого встречного, — как тут не поделиться с таким олицетворенным страданием, с такою бедностию, которой могут вполне сочувствовать только знакомые с гнетом ее? Как не отозваться на голос мученика, так жестоко страдавшего, может быть, за чужие грехи? — Но где взять средство помочь погибающему?— Я мог бы представить множество подобных примеров, где юное горячее сердце не могло отказать себе в деятельности, в сочувствии к братьям; но обстоятельства, лишившие средств к осуществлению благородных стремлений, давили еще более сознанием бессилия порывов быть полезными кому-нибудь. Во всех этих случаях дружеская помощь Н. Ал. была неоцененна для нас. Он среди нас был в роде банкира, хотя сам имел самые ограниченные средства. Но ему все-таки хоть что-нибудь присылали из дому, да притом уроки давали ему маленькие средства. Поэтому, как только являлся какой-нибудь случай, где требовалась материальная помощь, все неимущие обращались к нему, после чего он сам делался таким же неимущим. Не было случая, чтобы он когда-нибудь отказал в чем-либо товарищу, хотя были случаи, что ему отказывали те, которые имели в запасе деньги.— Обыкновенно, когда являлся вопрос о выписке журналов, посылке кому-нибудь денег и т. под. Н. Ал. большею частию сам брался за это дело, посылал свои деньги, а если у него не хватало, то занимал для других, а потом общий итог разделялся между участвовавшими, которые обещались уплатить ему долги, когда будут у них лишние деньги, хотя бы это могло случиться и чрез 20 лет. Между нашими товарищами, кажется, не было таких из порядочных людей, которые не состояли бы должниками Н. Ал., хотя известно было, что он сам был в долгах для того, чтобы выручить своих товарищей. Я не стану говорить здесь о той помощи, которую оказывал он товарищам по выходе из Института. Вы, думаю сами знаете, какое живое участие он принимал в судьбе Н. П. Турч[анинова] — и других. И я ему обязан услугою, которую буду помнить долго, долго. Когда в один из приездов моих в Петербург (это было в декабре 1859 г.), я объявил Н. Ал., что я намерен жениться, то он, принимая живейшее дружеское участие в моей судьбе, по обыкновению начал подробнейше расспрашивать о моих обстоятельствах с желанием хоть чем-нибудь служить мне: он, кажется, готов был сердиться, если бы не было случая подать руку помощи человеку, любившему его. Мои материальные средства, как всегда, были не в блестящем положении; но я никак не решался опять брать деньги у Николая Александровича, зная, что у него на руках братья и многочисленная семья; однако я должен был сказать ему правду на его расспросы. Этого достаточно было для того, чтобы он сейчас же вынул из стола последние сто рублей и дал их мне с условием возвратить тогда, когда у меня они будут лишние. К несчастию, этого не случилось до сих пор.

При свиданиях моих по возвращении его из за границы, я однажды ему напомнил, что теперь его финансовые обстоятельства наверное очень расстроились по случаю поездки, а потому я пришлю ему хоть часть долга,— тем более, что это для меня было бы не обременительным уплачивать долг по частям. Но лишь он выслушал несколько моих слов, как сейчас же просто оскорбился, что я ему об этом напоминаю и начал упрашивать меня соблюдать условия, которые сделаны были при получении денег. Условия с моей стороны еще не выполнены до сих пор...

Я думаю, что сообщаемые мною факты многие назовут мелочами, пустяками. Да, все эти мелочи в глазах людей, незнакомых с нуждами жизни, могут показаться такими пустяками, которые ничего не могут объяснить; но нужно прожить эту жизнь, чтобы понять значение этих мелочей, чтобы убедиться, что человек, разделяющий последнее с своими товарищами для удовлетворения их насущных потребностей — этот человек проникнут глубоким сочувствием к ближнему; его гуманные теории не пассивны, не мертвы, а одушевлены живою любовью к братьям даже в таких мелочах жизни, как удовлетворение голодного желудка...— Мы маленькие люди, незнакомые с высокими потребностями комфорта, судьба из детства обрекла нас на тяжелый подвиг жизни, не давши нам даже средств для приобретения права на труд полезный. Мы должны сами путем тяжелых лишений и испытаний, путем постоянной борьбы с препятствиями, прежде всего, завоевать себе право на труд, получивши образование. А чего стоило образование при наших условиях,— это может понять только тот, кто прошел этот путь без всяких посторонних поддержек, не имея ничего ни дарового, ни наследственного, кроме рук и головы на плечах.— Но чтобы мои слова не счел кто-нибудь фразами, я приведу здесь цифры, которые могут подтвердить сказанное мною. Наш курс средним числом состоял из 40 человек,— и вот такое непродолжительное время уже двенадцатый товарищ наш — Н. Ал. в могиле. И всех их сгубила в самом цветущем возрасте жизни одна болезнь — болезнь тяжелого труда — чахотка. Я думаю, что такая цифра смертности едва ли бывает так велика в роковое время губительной войны. А сколько вероятно теперь таких, которые, дорогою ценою купивши право учителя, хотя еще и не покончили с жизнию, но, вышедши из заведения обессиленными физически, теперь в лучшем возрасте жизни страдают неизлечимыми болезнями и несут тяжелые учительские обязанности ради насущного куска хлеба. Между тем в нашем обществе еще и теперь часто слышатся голоса даже людей образованных, что у нас дорого платят за обучение тем, которые таким трудным путем завоевали себе право на это... Но пусть себе толкуют это положение так, как кому понравится: наверное найдется много таких, которые признают его нормальным; указывая на него я не имел в виду даже касаться этого вопроса, а сказал только несколько слов по поводу объяснения тех обстоятельств, при которых получил образование Н. Ал. и большинство наших товарищей. Может быть простыми указаниями можно навести на некоторые соображения тех, которые вовсе незнакомы с трудною жизнию. Правда, сытому трудненько понять голодного. Мне встречались например господа, которые находили нашу жизнь в Институте очень хорошею: «это наивно,— говорил мне один господин,— куда не шло,— может быть и хорошо делали, что вас там стесняли,— а вот я — так поверите-ли не мог даже абонироваться в оперу, когда был студентом. Даже должен был отказывать себе в посещении собраний и балов».— И действительно, для многих составляет большое лишение то, о чем мы большею частию и не мечтали,— как же понять то, о чем и представления не имеешь.— И точно, посещение театров для многих из нас могло быть только неосуществимою мечтою. Нам и даровое посещение публичной библиотеки дорого обходилось: бывало, после обеда, от четырех до девяти ча-

сов посидишь в библиотеке и, прийдя домой, доволен остаешься, если не заметили, что возвратился позже установленного времени, а особенно, если добрый товарищ не забыл тебя за ужином и захватил на твою долю хоть ломоть черного хлеба, иначе придется испытывать страшные мучения голода, потому что казенный вес и мера, хотя и рассчитывали на всех, однако лишали порции опоздавших в пользу э к о н о м а. И это не один день голода, а целые месяцы: чем усерднее посещали библиотеку, тем тяжелее обходились эти посещения, — особенное трое нас часто испытывали невзгоды в этом отношении—Н. Ал., Н. П. Турчанинов и я. Нечего говорить о том, как жутко приходилось нам в трескучие петербургские морозы в холодной казенной шинельке без подкладки, представляющей хламиду древних греков, путешествовать с Васильевского Острова в Публичную Библиотеку и обратно. — Но я увлекся рассказом подробностей, которые могут быть и неинтересны; меня часто упрекали за увлечения в подобных рассказах о Н. Ал.: «охота ему была таскаться в библиотеку, — разве у него книг мало было? Да прочитал-ли он всех их?». — Меня и теперь могли бы упрекнуть подобные люди. Но я уверен, что Вы придадите значение и этим подробностям.

Однако пора мне кончить: письмо мое вышло гораздо обширнее по объему, нежели я предполагал.

Время нашего выпуска сопровождалось очень печальными обстоятельствами, — я не буду рассказывать подробностей этой истории, проводившей нас из Института в жизнь действительную. Главное здесь то, что начальство признав себя решителем нашей судьбы, распоряжалось по своему произволу. Явилась оппозиция со стороны студентов, — но осталась безуспешною. Самолюбия и чувства самосохранения, до того времени молчавшие, так сильно были раздражены, что трудно было разобрать отношения даже между людьми, которые прежде того связаны были общими стремлениями: одни требовали от других самопожертвования в пользу честного благородного дела — защиты обиженных, — между тем другие видели в этом деле только интересы частные и не хотели рисковать еще раз собою, потому что были убеждены, что риск, не принося никакой существенной пользы тем, которые его требовали, принесет только вред рискующим. Явились какие-то враждебные отношения: одни молчали, другие подозревали в подлости, в низости... В это время я разошелся с Н. Ал., — это же сделали и другие товарищи. Не буду рассказывать причины нашей размолвки и не потому, что бы она могла оскорбить память Н. Ал., а потому, что во время примирения с ним мы дали друг другу честное слово никогда в жизни не вспоминать об этой истории. — У меня нашлось две записочки, относящиеся к этому времени: одна по поводу Бруно-Бауэра, принадлежавшего Вам, а другая по случаю приезда благороднейшего товарища нашего Игн. Паржницкого, который принял участие в нашем примирении [15]. — После страшной злобы, которою я был вооружен против Н. Ал., доходившей до того, что я разорвал портрет, на котором сняты были шесть нас близких товарищей, а между ними и Н. Ал., — я помирился с ним очень просто, как с человеком, который действительно доказал, что желает добра всякому честному человеку, забывая оскорбления, с убеждением, что они были увлечением, которое могло быть оправдано обстоятельствами. После этой размолвки, я не переставал питать к нему глубоких чувств уважения и любви, как к человеку, который не только более всех нас, товарищей его, служил правде и добру, жертвуя часто многим, но, может быть, более всех, действовавших с ним на одном поприще [16]. — По выезде моем из Петербурга, мы довольно часто переписывались с ним; к сожалению, я мог найти между своими бумагами пока только одно письмо, писанное вскоре по моем выезде [17].

Признаться, я думал отвечать Вам не письмом, а целою запискою, в которой надеялся характеризовать личность Н. Ал., как я его понимал. Но как я ни уважал и любил его, как он мне дорог ни был, однако при теперешних обстоятельствах я не решаюсь приняться за это дело и откладываю до другого времени, а теперь пока только в письме предлагаю Вам некоторые факты, которые предоставляю полному Вашему усмотрению. — Если я съумел навести Вас хоть на какое-нибудь соображение и Вы не даром убьете дорогое для Вас время на прочтение моего письма, то значит — я достиг своей цели.— Вы близки были с Н. Ал., Вы знаете симпатическую натуру — эту честную, благородную личность — Вы, значит, поймете, какое удовольствие доставило мне хоть коротенькое воспоминание о нем.—

С глубочайшим уважением и полнейшею преданностию остаюсь
Вашим покорнейшим слугою Бор. Сциборский

Хотя мне тяжело быть так неаккуратным должником у покойного дорогого мне Н. Ал., однако я в настоящее время не могу выплатить долга. Поэтому покорнейше прошу Вас — подождать к лету, — тогда, ручаюсь честным словом, уплачу все сполна. Я хотел писать об этом Василию Ивановичу, но не знаю его адреса. Покорнейше прошу Вас, свидетельствуя от меня почтение ему, сообщить также об моем долге.

ПРИМЕЧАНИЯ

Печатается впервые по автографу ИРЛИ. Шифр: 1943. VIII с. Княжнин № 115.

В письмах Добролюбова 1859 г. к И. И. Бордюгову и М. И. Шемановскому исследователей уже давно привлекали некоторые неясные, почти таинственные указания, дававшие право заключать о какой-то организационной роли Добролюбова в создании некоей конспиративной организации с революционной программой.

Вот основания для подобных утверждений.

22 апреля 1859 г. в письме к И. И. Бордюгову читаем:. «Я теперь сам-то доволен, не знаю чем. Может быть, тем, что вчера с десяти до двух с половиной часов сидел у одного восторженного господина и, вместе с другими пятью или шестью, толковал о том, что мне теперь так дорого и о чем с тобою мы тоже толковали: Я все более укрепляюсь в своей мысли» («Материалы...», стр. 501).

24 мая того же года Добролюбов писал М. И. Шемановскому: «До сих пор нет для развитого и честного человека благородной деятельности на Руси: вот отчего и вянем и киснем и пропадаем все мы. Но мы должны с о з д а т ь [выделено Добролюбовым.—*С. Р.*] эту деятельность; к созданию ее должны быть направлены все силы, сколько их есть в натуре нашей. И я твердо верю, что будь сотня таких людей хоть, как мы с тобой и Ваней [Бордюговым], д а р е ш и с ь э т и л ю д и и с о г л а с и с ь м е ж д у с о б о й о к о н ч а т е л ь н о [разрядка моя.—*С. Р.*]— деятельность эта создастся, несмотря на все подлости обскурантов. (Там же, стр. 510).

В тот же самый день Добролюбов снова писал Бордюгову: «Пойдем же дружно и смело: ты можешь и меня поддерживать и удерживать, напоминая мне о моих планах и стремлениях. А в свою очередь и я могу быть тебе полезным. Попробуйте же, Ваня, сознательно окунуться в тот кипящий водоворот, который мы называем жизнью мысли и убеждения, сочувствием к общественным интересам и т. д. М о ж н о б ы н а з в а т ь и к о р о ч е, н о т ы и б е з т о г о п о н и м а е ш ь о ч е м я г о в о р ю» [разрядка моя. — *С. Р.*]. (Там же, стр. 512).

11 июня ему же: «Ты сам должен н е п р е м е н н о приехать. Нам н у ж н о [разрядка Добролюбова.—*С. Р.*] говорить о предметах очень важных. Теперь нас зовет деятельность, пора перестать сидеть сложа руки и получая 300 рублей жалованья и т. п. Приезжай, ради бога. Ты очень нужен. Твой на всё Н. Добролюбов» [разрядка моя.—*С. Р.*]. Там же, стр. 521).

6 августа в письме к Шемановскому Добролюбов подробно пишет о своих ближайших задачах. «Теперь наша деятельность... должна состоять во внутренней работе над собою, которая бы довела нас до того состояния, чтобы всякое зло не по велению свыше, не по принципу было нами отвергаемо, а чтобы сделалось противным, невыносимым для нашей натуры... Тогда нечего нам будет хлопотать о создании частной деятельности; она сама собой создастся, потому что мы не в состоянии будем действовать иначе, как только честно. С потерею внешней воз-

можности для такой деятельности мы умрем, — но и умрем все-таки, не даром... Вспомни:

Не может сын глядеть спокойно
На горе матери родной,—

Прочти стихов десять, и в к о н ц е их [разрядка моя.— *С. Р.*] ты увидишь яснее, что я хочу сказать...» (Там же, стр. 525).

Напомним (вслед за Н. Г. Чернышевским, М. К. Лемке, в наши дни В. Полянским) те стихи Некрасова, к которым отсылает Добролюбов своего адресата:

Не может сын глядеть спокойно
На горе матери родной —
Не будет гражданин достойный
К отчизне холоден душой,
Ему нет горше укоризны...
Иди в огонь за честь отчизны,
За убежденье, за любовь...
Иди и гибни безупречно
Умрешь не даром:.. Д е л о п р о ч н о
К о г д а п о д н и м с т р у и т с я к р о в ь.

Так весьма недвусмысленно расшифровывается программа Добролюбова в *организации, создать которую он стремился.*

У нас нет достаточных оснований утверждать существование этой организации и участие в ней Добролюбова. Мы видели, что речь идет пока о «внутренней работе над собой», которая должна в некоторый момент — момент, когда «зло» станет невыносимым, а друзья—подготовленными к борьбе, окончиться созданием организации, которая возникнет естественно, сама собою. До этого организационного оформления Добролюбов не дожил. Скорый отъезд за границу, а по возвращении—смерть оторвали его от практической деятельности. Но, по его мысли, такая естественно создавшаяся организация начинает неравную борьбу, исход которой ясен заранее — гибель во имя будущего.

Такова наиболее вероятная интерпретация, намеренно ограниченная нами рамками двух ближайших институтских друзей Добролюбова *.

Именно так и понимался передовыми кругами смысл всей деятельности Добролюбова. В известной прокламации, выпущенной ко дню 20-летия со дня смерти Добролюбова, при участии А. И. Ульянова, читаем: Добролюбов «не только заставил русский народ обратить внимание на свои язвы; в то же время он указал и средства, которыми они могут быть излечены» («Первое марта 1887 г.». М. 1927, стр. 379).

Мы не знаем того небольшого кружка людей в 5—7 человек, в котором обсуждались и развивались все эти мысли в 1859 г.**. Можно, впрочем, с достаточной уверенностью утверждать, что все это были люди близкие к редакции «Современника». Однако исторически кружок восходит к более раннему подпольному кружку студентов Педагогического Института. В этот последний, по словам Сциборского, входило человек десять — Бордюгов, Шемановский, Сциборский, Щеглов, Радонежский, Златовратский, Турчанинов, Паржницкий, Львов ***,—вот при-

---

* Не касаясь материала статей Добролюбова, ср. характерную цитату из письма к Чернышевскому от 12 июня 1861 г.: «Если бы было такое дело, которое можно бы порешить Курциевским манером — я бы без малейшего затруднения совершил Курциев подвиг, даже и не думая, чтобы его можно было ставить в заслугу». («Материалы...», стр. 624—625). Речь идет о жертве собой ради блага родины. Ср. еще глухой намек того же порядка в письме Б. И. Сциборского к Добролюбову от 26 августа 1859 г. (стр. 341—342 наст. тома).

** Ср., впрочем, запись в дневнике от 5 июня 1859 г. по поводу сочувствия, заявляемого Добролюбову в связи со статьей Герцена — «Very dangerous: «от С. Н. Ф[едорова] получил письмо с водянистыми выражениями сочувствия, да от Борд[югова] довольно горячее письмо, вот и все. А здесь настоящее сочувствие только и нашел я в Ч[ернышевском], О[бручеве] да С[ераковском]. Есть, правда, еще Н[овицкий], Ст[аневич], Д[обровольский], да кто их знает, что они за люди. Во всяком случае мало нас: если и семеро,— то составляет одну миллионную часть русского народонаселения. Но я убежден, что нас скоро прибудет». («Дневники...», стр. 257—258). Фраза «да кто их знает» и т. д. не позволяет категорически отождествлять названных лиц с упомянутым выше кружком.

*** См. напр. многозначительное упоминание имени последнего в цитированном выше письме Добролюбова к И. И. Бордюгову от 24 мая 1859 г.

мерный состав кружка — первые трое поддерживали связи с Добролюбовым и по окончании Института и были связаны с намеченной выше группой в 5—7 человек.

Институтский кружок на первых порах явно преувеличивал свои силы: «Мы верили, что наше вступление на поприще общественной деятельности ознаменуется переворотом, который поведет все общество по пути разумному».

Эти самоуверенные мечты при первом же столкновении с действительностью рассеялись и программа кружка определилась как борьба с злоупотреблениями начальства и отсталой системой преподавания. А этим определилась в свою очередь и вторая задача—самообразование. И уже отсюда на некоторой ступени зрелости («Слухи» — показатель этого быстрого роста) появились общие задачи борьбы с устоявшимся и косным бытом—«верованиями», по не вполне точной терминологии Сциборского, а затем уже и борьба с религией и выработка своей политической системы, противопоставляемой существующей.

Мы не знаем и едва ли узнаем когда-либо точный состав и задачи той группы, в которой участвовал Добролюбов в 1859 г., но в воспоминаниях Сциборского ярко и точно охарактеризована атмосфера дружеского кружка 1853—1857 гг., вероятно, преемственно связанного с кружком 1859 г.*

О Сциборском и его дальнейшей деятельности некоторый материал см. в «Русской Старине», 1900, №№ 1 и 3.

[1] Известны лишь три письма Добролюбова к Сциборскому, опубликованные в «Материалах».

[2] Добролюбов находился в институтском лазарете по болезни с 21 по 23 декабря 1853 г. Кроме того, в связи с историей со стихами на юбилей Н. И. Греча Добролюбов был арестован в лазарете (заменявшем карцер) в декабре 1854 г. Едва ли не этот случай и имеет в виду Сциборский. См. «Дневники», стр. 103—105. Ср. Валерьян Полянский, Н. А. Добролюбов, «Academia», 1933, стр. 32.

[3] Дневник Добролюбова за этот период неизвестен.

[4] Андр. Ив. Смирнов (1812—1883)—б. питомец Гл. Пед. Института; с 1812 г. и до закрытия Института ученый секретарь его — ближайший помощник И. И. Давыдова, ревностный исполнитель его указаний.

[5] Речь идет, повидимому, о директоре Института И. И. Давыдове.

[6] Речь идет о стихах на юбилей Н. И. Греча и анонимном письме А. А. Краевскому с предложением напечатать это якобы присланное из Иркутска стихотворение. О найденном у Добролюбова во время обыска см. также в воспоминаниях М. И. Шемановского (стр. 291 и др. настоящего тома).

[7] «Современник», 1856, VIII. Перепечатано во всех изданиях сочинений Добролюбова.

[8] См. прим. 5-е к воспоминаниям Шемановского (стр. 299 наст. тома).

[9] См. публикацию в настоящем томе неизданных отрывков перевода Добролюбова из Фейербаха (стр. 243—244).

[10] Из сохранившихся 17 номеров «Слухов» четырнадцать написаны рукой Добролюбова и лишь три рукою его институтского товарища Н. П. Турчанинова.

[11] Б. Сциборский излагает содержание передовой статьи к «Слухам» совершенно точно, пользуясь рядом выражений Добролюбова. Текст передовой см. в изд. Лемке, т. I, стр. 47—52, или в изд. Аничкова, т. VII, стр. 1—5.

[12] Неверно. Всего вышло, повидимому, 19 номеров журнала: по крайней мере следующие выпуски до сих пор не найдены.

[13] Стихотворение «Жалоба ребенка» (напеч. в августе 1856 г.) Этим стихотворением Некрасов начал чтение стихотворений Добролюбова на вечере в зале Первой гимназии 2 января 1862 г. **. Напечатанный в «Современнике» и собрании сочинений текст несколько отличен от приводимого Сциборским.

Для чего вы связали мне руки?
Для чего спеленали меня?
Для чего на житейские муки
Обрекли меня с первого дня?..

(Изд. Лемке, т. I, стр. 221).

---

* См. напр. письма И. И. Бордюгова к Добролюбову от 20 июля 1857 г. «Касательно общего святого дела, я еще ничего не предпринимал». («Материалы...», стр. 390). Возможно, таким образом, что организация кружка относится не к 1859 г., а к более раннему времени. «Святое общее дело...» на языке друзей было синонимом революции. Именно так толкуется стихотворение Добролюбова (1861 г.) «О, подожди еще, желанная, святая...». Ср. также статью А. К. Дживелегова: «Добролюбов и идея революции», «Литература и Марксизм», 1931. III.

** Ни на чем не основано приписывание этого выступления Н. Г. Чернышевскому. В оглавлении № 1-го «Современника» 1862 г. выступление с чтением стихотворений Добролюбова обозначено принадлежащим Н. Н[екрасову]. Ср. Н. Чернышевская-Быстрова, Летопись жизни... Н. Г. Чернышевского, 1933, стр. 111—12. Ср. в воспоминаниях Авдотьи Панаевой (4 изд. «Academia», 1933, стр. 482—483).

[14] Этот отрывок неизвестен.

[15] См. «Материалы...», стр. 383 и 412.

[16] Вследствие интриг И. И. Давыдова ряд нелюбимых им студентов был выпущен из Института со званием младшего учителя, обрекавшим их на самое незавидное существование. Добролюбов 8 июня 1857 г. от имени группы обиженных Давыдовым студентов (сам он в числе их не был) написал жалобу в министерство. Авторство Добролюбова стало в Институте известным и 11 или 12 июня у Добролюбова произошло с Давыдовым резкое объяснение. «Рацея <Давыдова> длилась минут десять. За нее следовало бы Ваньку выругать и дать ему в зубы или, по крайней мере, повернуться к нему..... и уйти с шумом. Но я ничего не сделал, а выслушал молча до конца: это я признаю действительно дурным поступком и обвиняю себя до сих пор» («Материалы...» стр. 513). Давыдов же пустил слух о том, что Добролюбов другим пишет жалобы, а сам под шумок ходит к директору просить хорошее место. Часть студентов даже из друзей Добролюбова поверила сплетне и потребовала от него объяснений. Добролюбов отказался их дать и порвал со Сциборским, Турчаниновым, Александровичем и др. Примирение произошло лишь спустя почти два года.

Характерно поведение части студентов, подписавших жалобу и вскоре запуганных угрозами Давыдова и предавших Добролюбова. В делах Главного Педагогического Института мне удалось разыскать следующее заявление:

Его Превосходительству господину директору Главного Педагогического Института тайному советнику и кавалеру И. И. Давыдову.

Студентов Института IV курса Историко-Филологического факультета Арсения Стратоницкого и Капитона Ширского

Представление

В общем прошении Института, представленном 8 дня настоящего месяца его сиятельству г-ну исправляющему должность министра народного просвещения, как мы узнали после, заключены и мы в число просителей, по ошибке одного из подателей этого прошения. Не принимая никакого участия даже в мысли об нем, покорнейше просим Ваше Превосходительство принять это во внимание. При сем честь имеем присовокупить, что о том же самом мы уже лично в свое время донесли г. исправляющему должность товарища министра 17 июня 1857 г.».

(Леноблархуправление. Дело Гл. Пед. И-та 1857 г. № 14. Ср. «Материалы...», стр. 518—519). Ср. еще в воспоминаниях М. И. Шемановского в настоящем томе, стр. 297.

[17] «Материалы...», стр. 534.

III. Н. А. ДОБРОЛЮБОВ И И. М. СЛАДКОПЕВЦЕВ

1. И. М. СЛАДКОПЕВЦЕВ — Н. Г. ЧЕРНЫШЕВСКОМУ

Милостивый государь, Николай Гаврилович!

Десять лет прошло, как я имел счастие лично знать, и не только знать, но и приобрести любовь, самое горячее юношеское к себе сочувствие Н. А. Добролюбова. Эта любовь и симпатия слишком ярко, с самым горячим, юным, энтузиазмом ко мне изображены покойным в его нижегородском дневнике, отпечатанном Вами в № 1 «Современника» настоящего года. Но воспетый некогда так вдохновенно моим юным любимцем, я в эти десять лет моей трудовой и слишком прозаической жизни потерял из вида моего восторженного нижегородского собеседника и обожателя. Я слишком поздно теперь встречаю его имя, правда увенчанное славою даровитого, передового мыслителя, сказавшего, по его же пророчеству *, «мужественное и крепкое слово»..., но, увы, только имя. Его дорогие останки в могиле.

Позвольте, Милостивый государь, бросить хоть горсть орошенной слезою земли на эту свежую могилу. Она слишком дорога моему сердцу: в ней сокрыт прах моего юного любимца, горячую привязанность которого я некогда имел счастие так незаслуженно приобрести себе. Не прибавлю я, быть может, ничего к составляемой Вами биографии этого неразгаданного мною тогда моего юного друга: но я отвечу, хоть поздно, несколькими стро-

* Эти знаменательные слова см. на одной из приложенных при сем страничек письма ко мне Н. А.

ками на жгучие страницы дневника покойного о моей личности. Главное: я не могу не отозваться на них. Они, эти драгоценные страницы, свято хранились мною целые 10 лет, я не раз перечитывал их в минуты грусти об исчезающей моей молодости, о потерянных из виду друзьях-питомцах... Но явившись в печати, по смерти их автора, они отозвались в душе моей как бы живым голосом ко мне из могилы, как бы из уст моего юного, уснувшего вечным сном любимца. И много пробудил во мне этот голос и грустного и отрадного; в нем воскресли предо мною: и моя молодая энергия, когда я был наставником-студентом, и те юные личности, которые подобно бессмертному Добролюбову, так горячо полюбили меня т о г д а за эту энергию и гуманность... и все и все, что так невозвратно изжито, потеряно!

Позвольте же отозваться мне моим неуклюжим словом на этот голос, — словом неискусным, но в котором тем не менее я хотел бы выразить все, что могу припомнить о моем обожателе и горько оплакать эту великую потерю для идущего вперед человечества. В остатках моих воспоминаний о Н. А., много потускневших от 10-летней давности, Вы, наверно, не найдете ничего достойного внимания: но я не претендую на гласность моих пустых и бесцветных воспоминаний. Они единственно плод высказанной уже мною потребности души.

Между тем, в добавок к моим скудным воспоминаниям о Н. А-че, я имею честь препроводить к Вам не найденные мною в печати странички некогда присланного мне дневника, или письма покойным. Я оставляю у себя все, напечатанное в № 1 «Современника», отрывая для Вас эти только странички. Я счел бы их тоже незначительными по содержанию, если бы не знал, что каждая строка таких людей мысли, каков покойный Добролюбов, должна быть дорога для умеющих ценить их. В них-то я нашел, по моему, слишком знаменательные слова 17-летнего юноши, как бы предугадывавшего свое великое будущее. «Вы не обманете моих мечтаний и надежд, — писал он ко мне. — Только вот в чем может быть вспоследствии перемена. П р о й д е т м н о г о л е т, и с ч е з н е т э т о т д е т с к и й, н е с в я з н ы й л е п е т, к о т о р ы й Вы сейчас будете читать, и м е с т о е г о з а с т у п и т м у ж е с т в е н н о е, к р е п к о е с л о в о... Простите» и пр. Не менее также замечательны, по моему, слова тех же отрывков дневника или письма ко мне. Выражая свою скорбь о разлуке со мной, покойный не находит более для себя друзей «м е ж д у с в о и м и т о в а р и щ а м и,—г о в о р и т о н,—я н е н а ш е л д р у г а, п о т о м у ч т о в с е о н и б ы л и о ч е н ь п у с т ы и п о д у ш е г о р а з д о н и ж е м е н я...» Не есть ли это опять глубоко и неотразимо сознаваемый покойным великий задаток своих внутренних сил, имевших так быстро и величественно проявиться в нем впоследствии? И ни здесь ли, главным образом, нужно искать объяснения той не-близости, неинтимности ученика Добролюбова с товарищами, вопреки объяснению Г. Лебедева (в «Материалах для биографии Н. А. Добролюбова», «Совр.», № 1, 1862). Но извините меня за эти объяснения. Отрывочки эти из дневника Вам посылаются: Вы лучше и яснее раскроете смысл подобных выражений покойного. Мне же остается просить Вас, если сочтете не тяжелым для себя переслать эти дорогие лоскутки снова по принадлежности, когда они будут не нужны для Вас.

Затем примите глубокое уважение и душевное благожелание в предпринимаемом Вами труде в память о Н. А.

От Вашего покорного слуги И. Сладкопевцева

P. S. Адрес мой: в Г. Тамбов, Профессору Семинарии, священнику, Иоанну Сладкопевцеву.

Апрель 4 дня
1862 г. Тамбов

2. И. М. СЛАДКОПЕВЦЕВ

ИЗ ВОСПОМИНАНИЙ О Н. А. ДОБРОЛЮБОВЕ

В 1851 году, по окончании курса в С. Петербургской Д[уховной] Академии, в конце октября вступил я в должность наставника Нижегородской семинарии. Не много послужил я для этой семинарии: голос родины (из Тамбова) вызвал меня для службы родной, Тамбовской семинарии. С ноября 1852 года и доселе я служу моей родной семинарии, тружусь, сколько во мне есть сил, для моих земляков-питомцев. Но все лучшие воспоминания в моей незавидной службе остались там, вне родины, далеко. Почти десять лет прошло,— а Нижегородская семинария будит во мне самые приятные, самые задушевные воспоминания. Может быть это от того, что я тогда был молод, свеж, энергичен; может быть та семинария, в которую я вступил из-за парты, как первая ступень к более свободной, самостоятельной деятельности в качестве наставника, после 15-летней, закупоренной жизни воспитанника, после долгого-долгого сидения на ученической скамейке, обдала тогда меня таким обаянием жизни, какое не забывается и доселе?.. Но я, как помню еще с ученической скамьи Д[уховной] Академии слишком безотрадно смотрел на предстоявшую каждому из нас карьеру наставника семинарии, а служа в Нижегородской семинарии, я часто хандрил, вздыхал о Петербурге... Что же делает для меня отрадными и доселе воспоминания о Нижегородской семинарии?

Нет сомнения, что прежде всего воспоминания молодости, — той энергии и любви к делу, с какими я принялся тогда за священное дело воспитания моих юных собратий, — нет сомнения, что эти воспоминания прежде всего так заманчиво окрашивают мою кратковременную службу в Нижнем. Но в них не главная причина моего прошедшего, с такою радостию мною воспоминаемого. Главная, как мне кажется, заключена в представлении почти общей ко мне тогда симпатии, даже горячей, юношеской любви ко мне воспитанников Нижегородской семинарии. Я не знаю, почему-то я встречен был Нижегородскими воспитанниками тогда с самым живым сочувствием ко мне. Впоследствии во многих оно возросло до энтузиазма, до влюбчивости, если можно так выразиться, в меня. Довольно было двух-трех моих лекций, чтобы имя мое разнеслось по семинарии, — двух-трех слов, сказанных мною вне класса тому или другому из моих воспитанников, чтобы между мною и ими установились дружеские отношения. И таких друзей было много тогда у меня, особенно из лучших по успехам питомцев: я принимал их в своей квартирке, зазывая большею частию не без труда к себе, и беседовал с ними самым родственным образом.

Покойный мой любимец, или лучше обожатель (иного слова не подберу для выражения необычайной ко мне любви его) Н. А. Добролюбов не принадлежал к числу моих непосредственных учеников, моих слушателей. Вследствие чего его дружба со мною, при его нерешительном характере и необычайной в то время застенчивости, устанавлялась медленно. В материалах для биографии Н. А. Добролюбова (январь 1862 г. «Современник») замечено уже, что по множеству учеников в семинариях, один и тот же класс разделяют обыкновенно на 2 параллельных отделения. Те же предметы и большею частию по одной программе, хотя разными наставниками, читаются в обоих этих отделениях, при чем, однако, вследствие отдельности помещений и разности наставников, оба параллельные отделения составляют как бы два отдельные класса учеников. Н. А. Добролюбов, в эпоху моей службы в Нижегородской семинарии, был учеником не в том отделении, в каком я был преподавателем, хотя предметы им изучаемые и мною преподаваемые были одни. От этого тем скорее я мог узнать и постараться приблизить к себе

лучших учеников моего отделения, тем далее я не мог знать о закрытой для меня симпатии ко мне ученика другого класса. Нижегородский дневник покойного Н. А. раскрывает много непонятного для меня. В письме его ко мне, в котором совмещается и дневник его (напечатанном в № 1 «Современника» 1862 г.), ученик Добролюбов прежде всего привязывается как бы к самому имени моему, едва только услышал отзыв обо мне моих слушателей. Я долго не знал об этой, непонятной для меня симпатии покойного. Заинтересованный собственно моими, непосредственными учениками, мог ли я иметь и понятие о воспитаннике другого класса, так горячо, без всякой, повидимому, причины полюбившем меня? Прошло уже довольно времени, как я заметил моего тайного обожателя. Мне стали говорить об нем мои собственно ученики, рекомендуя его как первого по успехам ученика другого отделения и как желавшего со мною сблизиться. Я изъявил полную готовность на это сближение, и не знаю, сколько еще прошло времени, как тетушка его В[арвара] В[асильевна Колосовская] (означенная в дневнике Н. А.) сделала решительный шаг к нашему сближению с Н. Александрычем. «Племянник мой такой-то сильно желает с Вами познакомиться, — говорит мне на одном вечере эта тетушка.— А как он вас любит, как уважает», и проч. и проч. Как ни немало слышал я незаслуженных мною комплиментов моей личности в тесном кружку моих знакомых, но эта наивная лесть, высказанная при том торжественно, со всею витиеватостию тетушки, привела меня в краску. «Как, думал я, мог полюбить меня такой-то, не будучи моим слушателем, — и слова не слышав от меня? По молве? По рассказам товарищей? Но ужели такой умный молодой человек мог привязаться ко мне по одной молве, не проверив ее? Или он хочет только сделать эту поверку?» Я проговорил, однако, краснея от столь внезапного мне панегирика, что «я очень рад быть знакомым с вашим племянником, тем более, что слышал об нем много лестного. Попросите его пожаловать ко мне» — и только сказал я.

Другой случай, который самого меня побудил к скорейшему знакомству с учеником Добролюбовым, представился мне в случайно увиденном мною сочинении покойного. Бывши как-то в доме параллельного мне по классу и предмету наставника А. Е. <Востокова>, я, между прочими тетрадками и книжками на столе, заметил одну толстую тетрадь, примерно листов в 20. Заглавие этого сочинения гласило: «Свод учения мужей Апостольских», или что-то подобное. На вопрос мой: что это за тетрадь,—сослуживец мой, непосредственный наставник Добролюбова, отвечал: «это сочинение ученика Добролюбова».—Ужели, спрашиваю я, столько он пишет на классическую тему, и ужели вы даете такие темы ученикам? * «Нет, отвечал мне флегматически мой сослуживец: это он сам, произвольно, пишет и подает мне для прочтения».—Пробежав несколько строк этой тетради, я заметил живой, зрелый, неученический склад речи: и тут решил узнать поближе автора таких объемистых сочинений. Жалел только, что ученик Добролюбов не щадил себя, своего здоровья, как мне казалось, незавидного (я в то время уже знал его по поличью). Зачем он, подумал я, убивает свои молодые силы на такого рода компиляции?!.. [1].

Но вот настало время нашего сближения с Н. А. Как сейчас помню, покойный в первый раз приходил ко мне за какою-то книгою. Едва пере-

---

* Мне казалось невероятным, чтобы ученик так много писал на данную в классе наставником тему. В течение месяца, обыкновенно, ученик должен был написать на разные длинные темы 3 или 4 сочинения. Можно ли же было поверить, чтобы эти сочинения-скороспелки так были об'емисты, хотя бы у самого даровитого и прилежного ученика? Но оказалось, что ученик Добролюбов задавал сам себе работу помимо казенного занятия, и выполнял ее с изумительным успехом.

ступив порог моей казенной квартиры, он останавливается в прихожей у самой двери, и боязливо, трепетно, едва смотря на меня, спрашивает какую-то книгу из библиотеки. Сказав, что этой книги нет у меня, я сейчас вспомнил и желание тетушки моего посетителя и свое собственное намерение сблизиться с ним, и только что он хотел выдти от меня, как я беру его за руку и прошу посидеть у меня. Живо помню я первое впечатление на меня моего нового знакомца: так оно странно, поразительно было для меня. Знал я, что он сын губернского священника, что он самый лучший ученик из 70 учеников своего класса; но его необычайная робость, какая-то угрюмость, даже будто забитость прямо противоречили, на мой взгляд, тому и другому. «Это ли, думал я, сын городского священника? Несомненно также, что он считается отличным учеником: но отчего он так стеснен, так молчалив, даже будто неразвит?» Я принялся, однако, шевелить эту, как мне казалось, запуганную натуру; говорил что-то много, и особенно старался говорить ласково, чтобы вызвать какое-либо объяснение почти безмолвного моего гостя. Но гость не поддавался. Между прочим, смотря на его худое довольно, будто страдальческое лицо, я советывал ему приберечь свои физические силы для занятия в высшем учебном заведении; упомянул ему о виденном мною его сочинении, похвалил его, как нельзя лучше, сказав в заключение однако, чтобы он поберег свое здоровье... Но что я ни говорил, гость мой попрежнему был безмолвен. Тем более я стал призадумываться над племянником В. В. До этого времени я уже приобрел сноровку беседовать с учениками семинарии, многих из них успевал расшевелить и заставить говорить со мною откровенно, развязно, даже интимно. От чего же не поддается мне новый мой знакомец?

Закончу я, — он и подавно молчит, опустив глаза; заговорю, — он поднимет голову и слушает... «Диво, подумал я, надобно доискаться чего-либо в этом человеке». А чтобы он поскорее еще навестил меня, я прошу его оставить у меня номер «Современника», который он держал в руках. Я хотел этим обязать моего нового знакомца к скорейшему повторению его ко мне визита.

Не помню я месяца и числа первого посещения меня Н. А-м. В дневнике его замечено, что это посещение было за месяц до семинарских каникул (т. е. 1852 г.), обыкновенно начинающихся с 15-го июня. До 1-го сентября этого года я уезжал в мою тамбовскую родину, и не могу припомнить, сколь много раз бывал у меня мой любимец до моего отъезда на каникулы. Зато по возвращении с родины, в течение сентября, октября и начала ноября (в конце последнего месяца я окончательно переместился в Тамбов) можно сказать, аккуратно через день, много через два, бывал у меня Н. А. и часто долго просиживал со мною. Обыкновенно так бывало. В 4 часа пополудни я выхожу из класса: выходит из своего и Н. А.; только войду я в мою одинокую квартиру, как вслед за мною едва заметно, осторожно, боязливо переваливается через порог моей коморы и мой любимец. Я всегда угадывал этот робкий шаг моего обожателя, и тотчас же стараясь как можно быть веселее (хотя порядочно утомлялся в классе), взывал: «добро пожаловать Н. А., садитесь, давайте пить чай». Затем, «что нового?», спрашиваешь его, и начинается длинная, предлинная беседа! Нечего уже повторять, что большая доля этих длинных собеседований лежала на мне. Мой собеседник оставался до конца нашего личного знакомства верен себе: большею частию безмолвно слушал болтовню мою. Разве-разве когда поддержит разговор, сделает летучую заметку, или предложит какой вопрос. Между тем, странное дело, я так привык к нему, что молчания его уже не считал странностию. Оно более не стесняло меня в моем неумолкаемом разговоре с молчаливым собеседником, тем более, что собеседник мой, при всей молчаливости, так жадно всегда ловил мое слово и так симпатично

улыбался на мои какие-нибудь смешные заметки, или самодельные каламбуры.

Беседы эти, однако, как кажется, так мало имели содержания, что я, чрез десять лет, так легко припоминая себе облик моего собеседника, всю внешнюю обстановку таких вечерних заседаний, не знаю, что сказать о содержании наших бесед. Дневник покойного Н. А. часто чересчур много придает моим беседам с ним, называя их умными и пр. Я не помню хорошо, о чем мы часто 4 и 5 часов без умолку говорили, или лучше: я говорил, а мой собеседник слушал. Сколько могу припомнить, однако, более общею темою наших разговоров были мы сами: я и он. Занятый большею частию не-отрадными мыслями о моей неблестящей карьере учителя семинарии, а особенно представляя себе всю безвыходность начатой мною службы, я переносился в Петербург,— и тут являлись бесконечные рассказы о Петербурге. Надобно заметить: я тогда бредил оставленным мною Петербургом; тоска моя по столице (Северной) равнялась тоске по родине. Не знаю, что это была за тоска: но я, как говорится, спал и видел тогда возвратиться в Петербург,— место моего последнего воспитания. Можно же после этого судить, сколько я ораторствовал пред Н. А. на задушевную мою тему о Петербурге... Затем разговор переходил на наше воспитание в духовных училищах, и незаметно от своей личности я переходил в разговоре на личность моего собеседника. Начинался ряд моих советов и благожеланий Н. А-чу. Я хорошо помню, что со всею сердечностию студента я советывал Н. А-чу скорее оставлять семинарию и непременно пробраться в Университет. Мне не известно было семейное положение Н. А-ча: быв почти вовсе не знаком с его отцом, я за несомненное полагал, что, как священник губернского города, отец его легко может отправить сына в университет и содержать его там. Замечательно: мой неговорливый собеседник даже не объяснил мне внешнего (денежного) положения своего отца, когда он, повидимому, так сочувствовал университету. При слове об университете проводилась нами параллель его с другими нашими высшими заведениями, при чем я, помню, оканчивал речь советом поступить и в духовную академию, но не иную, как Петербургскую (если уже не удается университет). Там, в Петербурге, говорил я ему, вы скорее найдете соответствующий себе род занятий; вас не стеснит духовная академия: выход из нее всегда будет вам легок.

Из дальних странствий по столицам и университетам речь наша часто возвращалась в свой тесный, семинарский мир. Я старался направить моего молчаливого гостя хоть на знакомые ему лица и предметы, чтобы заставить его говорить...

И здесь-то хоть сколько-нибудь достигалась желанная цель, т. е. несколько слов, часто с энергиею, либо с горькою иронией, вырывались из уст моего собеседника. Мне особенно памятен один случай внезапной говорливости моего любимца.—Надобно заметить, что с 1-го сентября 1852 г. Н. А. перешел из параллельного моему класса (называемого философским) в класс, так называемый — богословский[2]. Новые предметы занятия, единственно богословие, были часто темою наших разговоров: не без удовольствия, как можно было видеть, слушал Н. А. мои замечания на богословское воспитание, как оно должно итти у нас, и сам принимал участие в разговоре. За то новые лица, преподаватели этих предметов, как видно горечью обдавали любознательного воспитанника. Вот этот случай, который я живо помню (о котором я намекнул выше). Заходит ко мне как-то среди дня Н. А., будучи богословом. «Ну что, спрашиваю я, как передают вам новые наставники новые для вас предметы, и особенно как читает О. П[аисий]?[3]. Тогда мгновенно появилась какая-то горькая улыбка на лице Н. А-ча, и он громко, против всякого моего ожидания, говорит:

«Что наши наставники-богословы? Представьте себе, И. М., наш всемудрый О. П[аисий] целый класс занимался ныне не богословием, а каким-то диким словопроизводством с латинского и греческого языка. Например, как вам кажется? Слово ж е н а произошло, по его филологии, от лат. jungo, слово д у р а к от лат. durus. Вот этим и занимался целый класс. Умора, да и только. Скучно слушать». Громким, каким-то запальчиво-едким смехом сопровождались эти слова Н. А.; но на последней фразе голос и смех его снова упали,— и он попрежнему скрылся в себя... Я, помню, не преминул разразиться при этом известии громким смехом, и главное, не от этого дикого производства русских слов от латинских, о чем я уже не раз слышал от других учеников, товарищей Добролюбова, а я хотел этим веселым смехом поддержать говорливость моего любимца. «Вот, думал я, мой безмолвный гость начинает входить в интимность со мною». Но не тут-то было. Смех его оборвался,—и он попрежнему серьезен и сосредоточен.— Теперь вполне и для меня разъясняется этот горький смех даровитого, быстро идущего вперед, ученика над бездарным наставником. А тогда я не знал, чем объяснить эту вспышку, так притом быстро исчезавшую... Не буду скрывать: мне хотелось бы часто подзадорить моего молчаливого собеседника хоть этим комическим предметом, какова филология богослова-догматика, и я старался возбудить в нем таившуюся иронию. Но Н. А. большею частию, сказавши несколько слов, только улыбался на мои летучие замечания... и молчал. Я припоминаю при этом другого ученика, над каламбуром которого мы долго смеялись. Ученик этот тоже б о г о с л о в, и очень даровитый, только чересчур неуклюжий (забыл его фамилию), пришел как-то ко мне в комнату, где был со мною другой наставник, вместе со мною учившийся в Академии. Мы посадили за стол этого ученика, и мой однокашник вдруг спрашивает его: «скажите, пожалуйста, кто у вас лучше читает: О. П[аисий] или о. N (последний означен тоже в дневнике Н. А-ча)?» — «Да как вам, А. А.,— сказать,— с невозмутимою флегмою отвечает спрошенный: это два гриба, только на разных ножках». Долго мы смеялись над этим каламбуром: он конечно отзывался бурсою, но тем не менее метко характеризовал тогдашних наставников и воспитателей Н. А-ча.

Вызывал я, как замечено выше, хоть на подобные разговоры моего любимца; но он и здесь не был размашист, как во всех беседах со мною. В душе его, как я и тогда замечал, таилась эта ирония, насмешка над горькою действительностию, но насмешка эта была глубоко закупорена в его сосредоточенной натуре, была слишком неразмашиста и холодно-скромна. Одним словом: личность моего обожателя и собеседника, несмотря на частые его посещения меня, осталась для меня тогда неразгаданною. Так глубоко закрыта была от меня его прекрасная симпатическая душа. А между тем, он именно никого не любил тогда так, как меня: это я не раз слышал от близких ему еще в Нижнем. Но особенно это раскрылось для меня с его письмом ко мне, когда я переехал в Тамбов.

Письмо это, в котором совмещается дневник Н. А-ча или воспоминания обо мне, я получил от него в Тамбове, спустя полгода по моем отъезде из Нижнего, писано в июле или августе 1853 года. Теперь этот дневник, в письме ко мне, отпечатан в № 1 «Современника», но я, к счастию, соблюл его доселе в рукописи самого автора и любуюсь теперь этим юношеским энтузиазмом, так ярко высказанным в письме. Я отвечал Н. А-чу на его длиннейшее письмо еще тогда же, в 1853 году; я писал ему в Нижний [4]: но получил ли он тогда мой ответ, не знаю. За то его жгучее, чересчур любвеобильное ко мне послание уже решительно, как помню, затемнило предо мною человека, которого я так тщательно старался узнать. Чтож такое, думал я, в сущности мой любимец? Ужели в этом серьезном, повидимому холодном и не по летам сосредоточенном молодом человеке такая симпа-

тичная, огненная душа? Меж-тем я не раз перечитывал его послание. Я видел, не скрою, юное увлечение мною автора письма, смотрел на горячие строки ко мне моего любимца, как на юношеский энтузиазм, или молодую фантазию стремившегося к авторству молодого человека. Но я не только не посмеялся никогда над этим увлечением, над этими молодыми * чувствами, а напротив скорбел душою, что не сумел разгадать в свое время моего любимца. Может быть, думал я тогда, я сумел бы сделать что-либо истинно-полезное для моего друга, если бы успел разгадать его... Но было поздно. Я удовольствовался моим к нему ответом, в котором не только выразил согласие, но и умолял его не забывать меня: писать, где бы он ни был. Думаю что этот ответ мой не попал в руки Н. А-ча; кажется, он уже был в то время в Петербурге, а я писал в Нижний [5].

Как бы то ни было, однако, а с 1853 года я потерял из вида моего любимца и собеседника. Сослуживец и совоспитанник мой по Академии однажды на мой вопрос о нем писал: «твой любимец Добролюбов в Петербурге и поступил в Педагогический Институт». Только и узнал я об нем. Затем извещали меня также о смерти его батюшки: я пожалел о моем, осиротелом любимце — и только... Уже конец 1861 года указал мне моего друга,— и где же? В могиле. В декабрьской книжке «Современника» этого года я встречаю некролог Н. А. Добролюбова. Я не верил еще себе, доколе не пробежал всего некролога и не увидел звания и имени его отца и проч. Что со мною было тогда,— я не знаю. Мне кажется смерть самого близкого родного так больно не отзывалась в моей душе, как смерть моего юного любимца. И этот некогда робкий, застенчивый, как будто неразвитый, мальчик уже несколько лет был даровитым писателем, человеком мысли, приобретшим себе громкое имя в литературе. Я ведь читал статьи Бова (в компании наставников семинарии мы уже несколько лет выписывали «Современник»), я любовался этим живым словом, этою зрелою и новою мыслию. Но мог ли вообразить я, что этот Бов мой юный обожатель Добролюбов? Тотчас кинулся я в мой архив, и, к утешению моему, нахожу объемистый пакет с письмом и дневником ко мне покойного, хранившийся с 1853 года. Первою мыслию моею было послать этот пакет в редакцию «Современника», но прочитав его, я слишком краснел от этих жгучих строк обо мне письма. А здесь разные житейские дела, более насущные требования день ото дня удерживали меня от исполнения моей мысли. Так и дождался я 1 № «Современника» настоящего года, где буквально, с небольшими разве по местам вариантами, напечатаны письмо ко мне и дневник покойного Н. А-ча. Тогда я решил высказаться несколькими страничками в воспоминание о моем некогда любимце, приложив к ним нечто из дневника Н. А-ча, чего не нашел напечатанным. Я счастлив буду, если мои тусклые воспоминания о покойном хоть сколько-нибудь прибавят к данным для биографии незабвенного Н. А. Добролюбова.

И. Сладкопевцев

3 апреля 1862 г.
Тамбов

ПРИМЕЧАНИЯ

Письмо И. М. Сладкопевцева и его воспоминания о Добролюбове печатаются впервые по автографу ИРЛИ. Шифр: 2138. хс. Княжнин, № 310.

Чернышевский имел в виду напечатать публикуемые воспоминания и письмо во втором томе «Материалов для биографии Добролюбова».

В «Обзоре бумаг» первого тома им дана краткая характеристика И. М. Сладкопевцева и его воспоминаний, остающаяся в силе и до наших дней. Чернышевский указал, что дружба со Сладкопевцевым была полезна для Добролюбова,— «укрепляя в младшем друге добрые чувства, помогая юноше твердо выносить

* Я всегда помнил слова его письма: «умоляю вас, верьте моей искренности и не смейтесь над моими чувствами». 10 июля 1853 г.

печаль, составлять благоразумные планы. В этом отношении дружба с И. М. Сладкопевцевым, несомненно, была очень полезна для Добролюбова. Но только в этом отношении. На развитие понятий Добролюбова И. М. Сладкопевцев не имел влияния: это ясно из сравнения той части дневника 1852—1853 гг., которая была писана Н. А. до знакомства с И. М. Сладкопевцевым и той части, которая была написана после отъезда его». («Материалы...» стр. 660). Добавим еще, что, по свидетельству самого Добролюбова, И. М. Сладкопевцеву обязан он решением отправиться в Петербург для поступления в духовную академию («Дневники...» стр. 87 сл.).

[1] Этот рассказ следует сопоставить с рассказом самого Добролюбова—«Дневники...», стр. 58 и сл.

[2] Курс духовной семинарии состоял в то время из трех двухгодичных классов: «словесности», «философии» и «богословия».

[3] Речь, несомненно, идет о профессоре богословия и инспекторе семинарии о. Паисии. В архиве Добролюбова (Княжнин, № 50) сохранилась опубликованная Чернышевским тетрадка «Замечательных изречений» «Паисия... над которым смеялся Д-в» (надпись Чернышевского). Ср. «Материалы..., стр. 662—664; ср. еще неоднократные упоминания о нем же в дневнике (по указателю).

[4] Это письмо неизвестно.

[5] Письмо Добролюбова к Сладкопевцеву датировано 6—10 июля 1853 г. 4 августа Добролюбов выехал из Нижнего-Новгорода в Петербург: таким образом ответ Сладкопевцева не застал его в Нижнем и, очевидно, не был ему переслан.

3. НЕИЗДАННОЕ ОКОНЧАНИЕ ПИСЬМА Н. А. ДОБРОЛЮБОВА И. М. СЛАДКОПЕВЦЕВУ ОТ 31 ДЕКАБРЯ 1852 г., 6 и 15 ЯНВАРЯ 1853 г.

30 мая [1853 г]

Что мне еще говорить Вам, невыразимо добрый Иван Максимович, до сего места дочитавший нескладное мое писанье?... Еще два месяца наслаждался я своей участью в знакомстве с Вами; но я не понимал тогда хорошенько ни своих чувств, ни своего положения... Вы, конечно, сами лучше меня видели, что происходило в душе моей. Вы не бранили меня, что я так часто ходил к Вам и так долго у Вас засиживался. Вы не хотели холодным приемом разрушить мои мечты, убить мое счастье, и я всегда встречал у Вас радушный привет... Я, конечно, очень хорошо сознавал, что Вы принимали меня «из милости», но несмотря на мою гордость, мне не казалось унизительным пользоваться, и даже слишком, этой милостью: Вы были так высоки для меня, что я все бы принял от Вас, как и сам бы все сделал для Вас... Иногда думал я и то, что обременял Вас своими посещениями, но эти посещения приносили мне столько счастия, что я не в силах был противиться искушению. Никогда не забуду я этих вечеров, проведенных с Вами наедине, этой живой, одушевленной речи, в которой я участвовал только тем, что слушал ее; этих минут откровенности, которыми Вы иногда дарили меня... И мог ли я после этого не привязаться к Вам всеми силами молодой души, которая находила в Вас приближение к своему идеалу? Между своими товарищами я не имел друга, пот[ому], что все они были очень пусты и по душе гораздо ниже меня. Привязавшись к Вам, я узнал наслаждения дружбы. Странное дело: кажется, наши отношения должны быть другого рода... Но я именно так понимал дружбу. Я слушал Вас, смотрел на Вас с такою искреннею и сильною любовью, Ваша радость и грусть так действовали на меня, Ваше счастье было для меня так дорого и я так жадно хотел бы чем-нибудь ему способствовать, что поистине никакой друг не мог бы более любить своего друга. С другой стороны, и Вы были ко мне так снисходительны, Ваше знакомство, беседы с Вами приносили мне столько счастья, что я не знаю, может ли какая-нибудь дружба принести более. А беспредельное уважение, какое я всегда имел к Вам, служило еще к большему скреплению и утверждению наших отношений...

Милостивый государь,
Иван Максимович!

Получивши это послание, Вы, конечно, немало удивитесь, и большого труда будет стоить Вам — припомнить этого юного энтузиаста, который, спустя лето, вздумал теперь отправиться по малину. Но все-таки я еще надеюсь что Вы припомните меня, хотя прочитавши все, здесь написанное, Вы встретите совсем не то, чего бы могли ожидать от моей застенчивости. Ныне я и сам удивился, перечитав письмо. Многому Вы можете не поверить, многое принять за лесть, над многим посмеяться... Но — что же мне за польза хвастать и льстить Вам теперь; ради каких благ решусь я на такой подвиг... Если и есть что-нибудь льстивое в моих словах, то льстила Вам душа моя, которая,— может быть и слишком,— увлеклась Вашими достоинствами... Смеяться же над наивностью, с которою выражены мои чувства,— Вы властны сколько угодно. Я и сам теперь уже ставлю знаки вопроса против некоторых выражений тогдашних... Но умоляю Вас: верьте моей искренности и не смейтесь над моими чувствами: они заслуживают лучше быть принятыми.

Я хотел отослать Вам мое письмо не прежде, как уже будучи обреченным в Спб. Академию. Но решения моего дела нет и доселе, так что я начинаю сомневаться, будет ли оно... А между тем до отпуска Вашего остается всего пять дней (нас отпустили ныне 2-го числа, по случаю холеры, от которой, впроч<ем>, никто из наших знакомых не умер, и я должен поспешить, чтобы письмо застало еще Вас в Тамбове. Вот, если такая сентиментальная вещь попадется в руки какому-нибудь тамбовскому остряку! Возрадуется, я думаю!.. Со стороны, ведь этого не поймут...

Но между тем,— что бы ни случилось, Иван Максимович, если я и останусь в семинарии, и тогда — еще более, нежели при других обстоятельствах,— я умоляю Вас об одном: напишите мне маленькую записку: она осчастливит и поддержит меня, среди этой несносной, грязной и, если можно сказать,— мертвой семинарской жизни, доходящей до высшей степени пошлости в нашем бесценном инспекторе (продолжающем производить: жена от jungo и дурак от durus) [1]. Утешьте же меня!...

Может быть мы и увидимся с Вами: от всей души молю бога, чтоб успешно было Ваше намерение перейти в моск. семинарию (только отчего же не в петербургскую?..)... Тогда, при свиданьи, я может быть, скажу вам то, чего не мог сказать прежде и уверю Вас в моей искренности... Я сознаю и могу обещать, что чувства мои останутся неизменны, тем больше, что с Вашей стороны не может быть никакого повода к перемене. Вы не обманете моих мечтаний и надежд!.. Только вот в чем может быть впоследствии перемена: пройдет много лет, исчезнет этот детский, несвязный лепет, который Вы сейчас будете читать, и место его заступит мужественное, крепкое слово... Простите... Ваш отъезд был для меня великим ударом судьбы... И теперь еще горько мне вспомнить об этом, и вот что писал я в своем дневнике в порыве первого чувства, когда только узнал об Вашем отъезде [2]: «...Нынешний вечер сидел я у него и чудные, непонятные желания томили меня.... Голова моя горела: мне хотелось — то расплакаться, то разбить себе череп, то броситься к нему на шею, расцеловать его, расцеловать его руки, припасть к ногам его. С грустным отчаянием смотрел я на него, наглядывался может быть в последний раз, и никогда еще, казалось мне, черные волосы его не лежали так хорошо, в чудном беспорядке на голове его, никогда смуглое мужественное лицо его не было так привлекательно, никогда в темно-голубых его глазах не отражалось столько ума, благородства, добродушия и этого огня и блеска, в котором выказывалась сильная и могучая душа его. Я мысленно прощался с ним и сердце надрывалось... И вот жизнь наша: были знакомые, в хороших отношениях, души наши

сроднились несколько, вдруг — несколько сот верст расстояния разделяют нас, и мы ничего не знаем друг о друге, и мы чужие один другому, и нет между нами ничего общего».

Это было писано 11-го ноября 1852 г.— Но что же? Неужели в самом деле, случайно сошедшись и разошедшись, мы навсегда останемся совершенно чуждыми друг другу.... Это было бы слишком тяжело для меня, и я хочу верить, что Вы не разрушите моих надежд на продолжение знакомства с Вами... Кроме того—Вы мне обязаны, пот<ому>, что я доставил Вам случай неведомо сделать доброе дело. Прочтите, что писал я в дневнике, 19 ноября, проводивши Вас уже совсем: «...Но, чтобы навсегда была драгоценна для меня память его, я даю обещание в память его» [3]. Таким образом Ваше имя тесно соединяется с историею моего нравственного развития, и — какие еще узы могут крепче связывать меня с вами, хотя Вы, разумеется, останетесь при этом свободны от всякого обязательства!.. Будьте же и ныне дорогим гением, Иван Максимович! Храните меня издалека, как хранили вблизи!.. Через несколько месяцев сердечно желал бы получить от Вас несколько строк в Петербурге, куда я, вероятно, отправлюсь в нынешнем годе: прошение к Графу подано еще в марте, и за меня просил письменно наш Преосв<ященный>. Кстати: это случилось в четверток на масляницe, в тот самый день, в который прошлого года в первый раз сошелся я с Вами... 17 июля придет, может быть, и решение из Петербурга. И как только я поступлю в Академию, первым долгом почту уведомить Вас и, может быть, попросить Ваших советов, которые мне тогда будут, вероятно, очень нужны. Вы позволите мне надеяться, что мои искренние благородные чувства в отношении к вам найдут в Вас хоть какое-нибудь сострадание (sympathia), и Вы не откажетесь осчастливить меня хоть маленькими «postscriptum» по крайней мере, в письме к кому-нибудь из Ваших знакомых в Петерб. Академии... Я, конечно, не имею никакого права на Ваше внимание, но при всем том — признаюсь — мне больно было бы заслужить от Вас оскорбительное презрение...

Вечно с любовью помнящий Вас

Ник. Добролюбов

ПРИМЕЧАНИЯ

Публикуется впервые по копии И. М. Сладкопевцева, хранящейся в ИРЛИ. Шифр: 1998. IX с. Княжнин № 170.

Начало настоящего письма, примыкающее по существу к дневнику Добролюбова, и было именно в его составе опубликовано Чернышевским в «Современнике» (1862, № 1, стр. 286—293). В эту публикацию вошла часть, написанная 31 декабря 1852 г., 6 и 15 января 1853 г. Из хранящейся в ИРЛИ же черновой заметки Добролюбова (см. Княжнин, № 127) было известно, что 6, 8 и 10 июля Добролюбов пис<ал> к И. М.», т. е. Сладкопевцеву. Это письмо и предшествующая ему часть (от 30 мая) и является предметом настоящей публикации завершающей публикацию Чернышевского. Письмо является одним документом, посланным адресату одновременно—об этом свидетельствует пометка И. М. Сладкопевцева на л. 7 (перед частью, датированной 10 июля): «NB. Это не особое письмо, а продолжение того же письма, какое было напечатано, только с новым воззванием». Часть, написанная 31 декабря 1852 г., 6 и 15 января 1853 г., сохранилась в ИРЛИ и в черновом наброске Добролюбова. Конец записи от 15 января и весь дальнейший текст — в копии И. М. Сладкопевцева. Перед датой (30 мая) его пометка: «Отселе не напечатано».

Письмо полностью было набрано для невышедшего в свет т. X собрания сочинений Добролюбова под редакцией Ф. В. Аничкова. Единственный неполный корректурный экземпляр этого тома хранится в библиотеке ИРЛИ.

[1] Речь идет об о. Паисии. См. стр. 323 наст. тома.

[2] В этом месте в копии И. М. Сладкопевцева пропуск. Приведены лишь первые четыре слова. Восстанавливаем этот отрывок по тексту дневника.

[3] Три следующих строки густо зачеркнуты Чернышевским и не поддаются прочтению. То же и в тексте дневника (стр. 74 цит. выше издания).

4. НЕИЗДАННЫЕ ЮНОШЕСКИЕ СТИХИ ДОБРОЛЮБОВА, ПОСВЯЩЕННЫЕ И. М. СЛАДКОПЕВЦЕВУ

СОНЕТ

(И. М. Сл<адкопевце>ву)

Давно уж я ничем не восхищался,
Давно я удивляться перестал,
За призраком каким-то я гонялся...
И наконец нашел мой идеал.

Явились вы — душа пришла в волненье,
За вами я восторженно ходил,
Ваш разговор и каждое движенье
Я проследил, заметил, заучил.

Черты лица так много обещают,
Так дышат мужеством, отвагой и умом,
Ваш голос так мне в душу проникает,
Вы так умны, так хороши во всем!....

Нашел я то, о чем давно мечтал:
Нашел, нашел я в вас мой идеал.

1 декабря 1851 г.
Нижний Новгород

ПЕРВОЕ ВПЕЧАТЛЕНИЕ

(И. М. С<ладкопевце>ву)

Поражен и очарован,
Перед вами я стоял.
И смущен и весь взволнован,
Сам себя позабывал...

Ваши речи и движенья,
Блеск прекрасных синих глаз,
Гордой мощи выраженье
Все меня пленяло в вас.

И теперь припоминая
Ваш пленительный портрет
Я невольно забываю
Что уж вас со мною нет.

И уносишься невольно
К вам тревожною мечтой,—
И как мне бывает больно,
Что вас нет уже со мной!

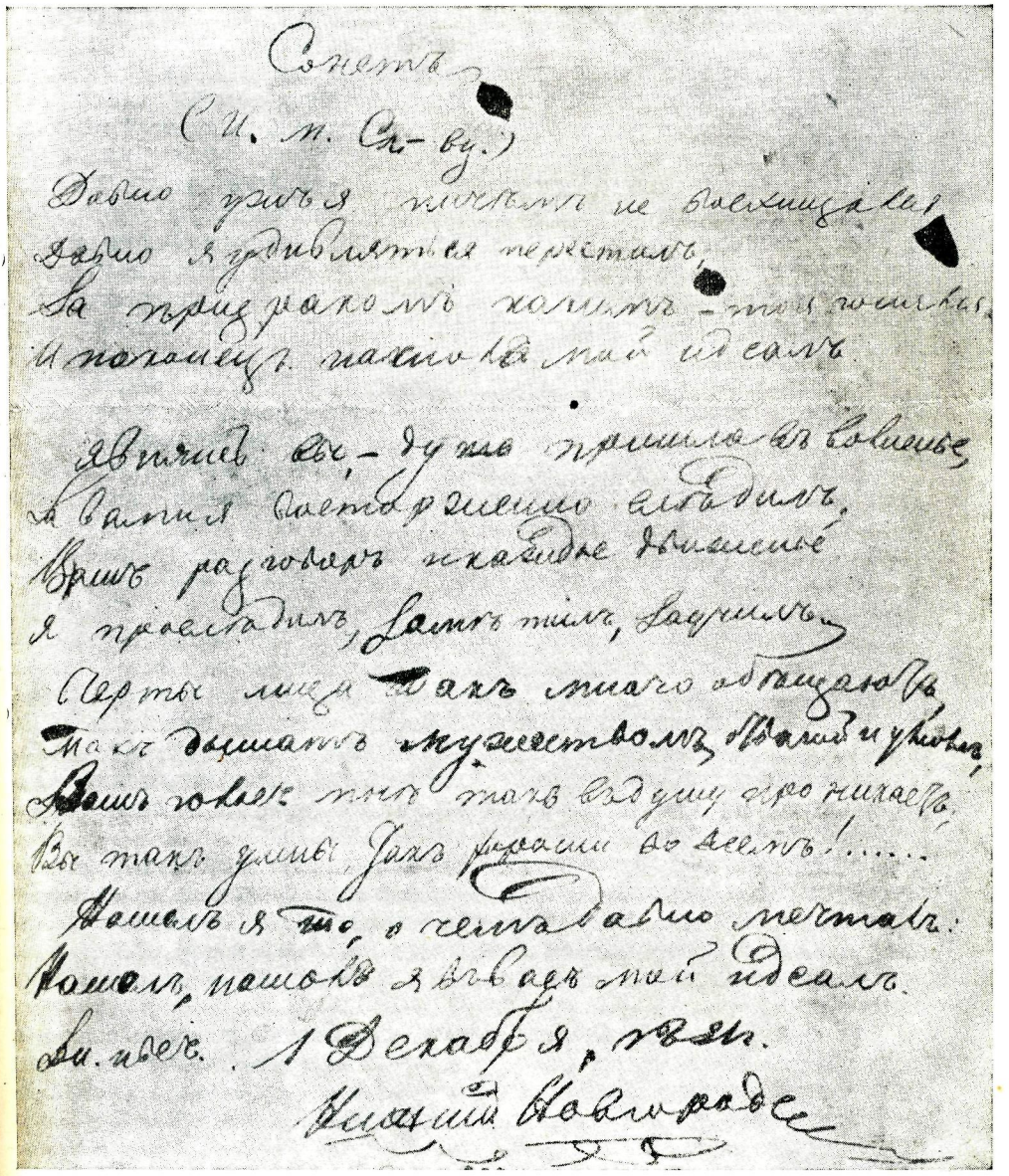
Но за то я не забуду
Этой гордой красоты
Всюду вспомню, где ни буду,
Эти смуглые черты.

6 января 1853 г.

ПРИМЕЧАНИЕ

Публикуется по автографам ИРЛИ. Шифр: 1840, VIII с. л. 36а и 27. Княжнин, №№ 12, 11/92 и 11/123.

Первое из стихотворений публикуется впервые, второе неполно было опубликовано М. К. Лемке в биографии Добролюбова (собр. соч., т. I, стр. XXX). Кроме того в списках своих стихотворений, составлявшихся Добролюбовым, вероятно, в 1853 г., названо еще одно несохранившееся стихотворение, также обращенное к И. М. Сладкопевцеву: «На отъезд И. М. С-ва», дат. 19 ноября 1852 г. (См. Княжнин, № 11/115).



Сонетъ

(И. М. Сл-ву.)

Давно уже я книгъ не раскрываю,
Давно я удивленья перестаю,
Но передъ вами книгу — отложу я,
И попрошу: напишите мой идеалъ.

Привыкъ я къ — дутымъ приливамъ волненья,
И вашихъ восторженныхъ словъ,
Вашъ разговоръ искавшихъ вдохновенья
Я предсталъ, Самъ тяжелъ, безумно

Черты лица такъ ясно обрисовать
Такъ вдохновенно мужествомъ, Вашихъ чувствъ,
Вашъ голосъ пусть такъ вдохновенно
Въ такъ умно, Какъ рисуетъ до конца!.....

Нашелъ я то, о чемъ давно мечталъ:
Нашелъ, нашелъ я въ васъ мой идеалъ.

Ав. 1890. 1 Декабря, 1891.

Николай Добролюбовъ

СОНЕТ Н. А. ДОБРОЛЮБОВА, ПОСВЯЩЕННЫЙ И. М. СЛАДКОПЕВЦЕВУ

Институт Литературы, Ленинград

IV. ПИСЬМО М. И. БЛАГООБРАЗОВА К Н. Г. ЧЕРНЫШЕВСКОМУ

4 декабря 1861 г.
Нижний Новгород

Милостивый государь Николай Гаврилович!

Я Вам сказал, что пробуду в Москве числа до 10-го, а вышло, что 2-го числа я был уже в Нижнем. На бедного Макара шишки летят, есть пословица, которая на мне вполне оправдывается. Поездка в Петербург была неудачна, по случаю кончины Николая Александровича; а приезд в Москву еще хуже. Тут ждало меня письмо, которое извещало о болезни моей жены. Вот почему я из Москвы и уехал...

Письма Николая Александровича Вам посылаю,— всех их 40. Часть есть к матушке (5). Некоторые я не мог подобрать по числам, потому что они не имеют надписи. Но для Вас большого порядка вероятно и не надо. Не знаю, извлечете ли из них какую пользу. Есть письма, которые говорят не в пользу моей холостой жизни, но я надеюсь, что Вы за прошедшее не будете иметь обо мне дурного мнения. По прочтении их, хотя не скоро прошу возвратить [1].

Вы спрашивали о подробностях молодости Николая Александровича; но я, передав лично все, что знал, теперь прибавлю одно обстоятельство, которое свидетельствует, что его ум замечен был даже детьми.

В одном со мною доме рос мой двоюродный же брат Володя, со мною одних лет. А Николай Александрович был нас моложе годами шестью. Впрочем, в игры наши мы его не только допускали, а он у нас был вроде прокурора или секретаря. Мы его постоянно заставляли проверять разные счеты. До того был у него мягок характер, что он никогда не выходил из повиновения.

Игры наши были преимущественно торговые. Мы набирали игрушки, назначали им цены миллионные, деньги были бумажные; на каждой бумажке была надпись, во сколько ходит известная монета, примерно тысячу рублей, 100 т[ысяч] или несколько миллионов. Вся эта надпись возлагалась на Николая Александровича, зная, что он добросовестно исполнит поручение. При сем прилагаю лист бумаги, где он своей рукой обозначил цену товару и подводил итоги [2]. На пример, колокольня назначена 10 миллионов, а должно было продать за 17.

Другая игра была солдатиками. До несколько тысяч было нарисовано картинок, они вырезывались, к ним подклеивались деревяшки, чтобы они могли стоять на столе. Этот труд тоже нес Никол[ай] Ал[ександрович], потому что я был распорядителем и работал мало, равно и другой брат; и оба были чрезвычайно ленивы и не постоянны. А Никол[ай] Ал[ександрович] все выдерживал.

Лет семи Никол[ай] Ал[ександрович] уже очень хорошо и расчетливо играл в вист и в преферанс, так, что допускался играть с большими гостями его родителя; и нередко обыгрывал своего отца в игру «свои козыри», в которую славился играть мой дядюшка Александр Иванович [3].

И так все, что я мог сказать Вам.

Позвольте Вас просить, при случае, передать мое почтение Авдотье Яковлевне, и напомнить Ване непременно каждый месяц писать к моей матушке, хотя по одной строчке.

Михаил Благообразов, Ваш покорнейший слуга

Печатается впервые по автографу ИРЛИ. Шифр: 2123. хс. Княжнин, № 295.

[1] Возвратить письма Чернышевский не успел: они в настоящее время находятся в ИРЛИ в составе архива Добролюбова. Все письма изданы.

[2] Этот лист не сохранился.

[3] Об игре молодого Добролюбова в карты см. еще запись в дневнике от 28 февраля 1852 г. («Дневники, 1851—1859», 2-е изд., М. 1932).

V. НЕИЗДАННЫЕ ПИСЬМА И. И. ПАРЖНИЦКОГО К Н. А. ДОБРОЛЮБОВУ

1

Николай Александрович, с нетерпением я ждал обещанных тобой известий, но к сожалению их доселе не имеется; но надеюсь, что дождусь их. Вот наступила новая фаза моей жизни. Писарь, в которого столе я находился и который знал все дела, повесился на днях, и теперь все дела свалены на меня одного, это служит причиной самым ужасным неприятностям, и уже не говорю о том, что я должен работать день и ночь, тем более что предстоит закрытие госпиталя. Но об этом теперь некогда. А вот самое главное: пришли мне пожалуйста 15 рубл. сер. в самом скорейшем времени, чтобы деньги застали меня в Тавастгусе, а то после чорт знает куда ушлют меня. Мне нужно расплатиться с долгами, хорошо еще, что в долг давали, иначе хоть околевай. Не забудь узнать тоже есть ли места и какие по медицинской части на уездных врачей и проч. в медицинском департаменте; мне право совестно, что доселе я не мог известному тебе доктору дать на это ответа. Отчего Институтские так обленились; я сказал им, что совестно даже подумать, чтобы доселе никто из них не сумел написать двух-трех строчек; если они и к другим моим товарищам столь же мало внимательны, то это совершенно непростительно. Тут не может быть отговорки: «мы их мало знаем». Люди, посвятившие себя служить таким же двуногим, как они, и понимающие цель и обязанность этого служения, притом-же люди образованные — а такими я в праве считать бывших моих товарищей — не унизят себя подобным извинением. Скажи им, что хотя я ни на минуту не сомневаюсь в их благородстве, — иначе не стал бы писать и напоминать им — но мне неприятна их леность, и зачем-же все откладывать до завтра? Еще раз повторяю, что в отношении меня, это еще сносно, но в отношении других товарищей это непростительно. В особенности Михайловскому следовало писать вам, его доля тяжка, к Муравьеву тоже, о нем я ничего не знаю. — Прими мой добрый [Николай] Александр[ович] дружеское пожатие руки Игнатия.

P. S. Поспеши с высылкою не позже 1-го июля, до которого я надеюсь остаться еще в Тавастгусе. Пиши всегда на имя мое с присовокуплением: «состоящему при Госпитале», деньги-же пришли на имя Франца Николаевича Гека. Аптекаря Тавастгуского воен[ного] Госп[италя].

18 июня [1856 г.], Тавастгус.

2[1]

Incipiam a te Николай Александрович, потому что письмо твое такого содержания, что нельзя на него не отвечать отдельно, и, уже судя по этой выставленной причине, ты легко можешь себе представить, какое впечатление произвело оно на меня. Да, прекрасны новости тобою рассказанные, прекрасны должны быть надежды, которые я отчасти угадываю. Будем-же надеяться.

Что касается меня, мой друг, то я ничуть не сожалею о моей участи: мое положение для меня полезно. Я выиграл уже потому только, что негодяям, оклеветавшим нас, не удалось меня толкнуть в грязь; и хотя они и надели на меня серку, хотя и отдали в руки людям, которые требуют от меня, как от солдата, исполнения мною обязанностей моих (мнимых?); но все-таки им не удалась татарская их политика: люди, исполнители Пеликановых предписаний[2]; он удостоил меня особенного своего внимания, и писал обо мне кроме официальных бумаг еще частное письмо, кот[орого] со-

держание легко угадать, часто стыдятся своего варварства и делают что-то вроде снисхождений, которые, разумеется, я поворачиваю на свой манер. А разве для меня не полезно столкновение с столькими разнородными личностями, между коими я встретил и несколько благородных экземпляров?

Письмо, только что полученное мною из Петербурга, перевернуло все мои мысли, так, что и забыл о том, как утром писать хотел. Содержание того письма: мой несчастный отец скончался тому месяц назад. Да, мой друг, умирать с отчаянием в душе, видеть свою семью оставленною без всяких средств — это ужасно! Впрочем мир праху этого честного и благороднейшего человека, который всю свою жизнь страдал за эти качества! Мне пишут из дому, что я теперь должен занять место отца для семьи, состоящей из матери, почти совершенно слепой, сестры, да трех малолетних мальчиков. Вообрази-же, как жгло мне грудь это письмо. Впрочем словами не пособить, а надо действовать. Прежде всего надо обеспечить состояние моего брата Александра; приищи ему уроки до моего возвращения, это первый необходимый шаг, потому что на дядю моего надеяться нечего: он наконец совсем делается Плюшкин. Пиши ко мне. Твой Игнатий.

P. S. Наш Госпиталь закроют вскоре, раньше августа месяца и тогда меня ушлют, а куда? Не забудь об уроках братьям моим. Будь у Александра и потолкуй с ним и разубеди: а то мне право совестно, что я должен вести полемику с братом на счет искренности моих отношений с институтскими друзьями, я бы хотел, «чтобы един дух, едино тело были бы мы мнози, ведь единым словесам веруем».

3

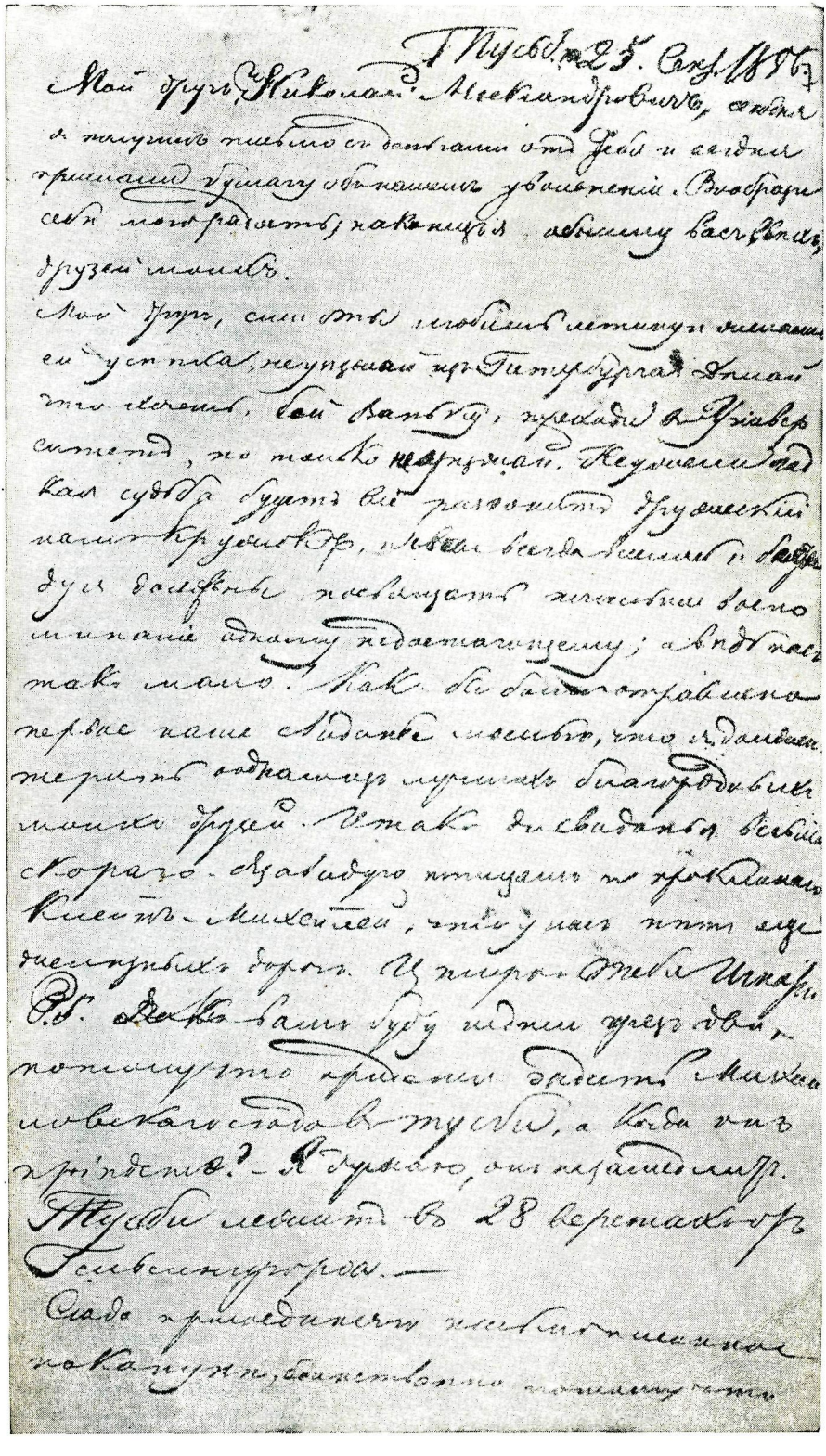
31 июля 1856 г.
Тавастгус

Николай Александрович,

Мы оба очень упорны — я в болтовне, ты в лени. Чтобы это было, если бы тебе пришлось изгрызть столько перьев, сколько я погрыз? Я уже решился было выжидать от тебя письма, но события идут вперед, не выжидая твоего ответа, и принуждают меня взяться за перо. Удивительна мне беспечность людей, дело начато, оставалось и может быть остается только употребить несколько больше энергии, быть настоятельными больше, чтобы сорвать маску с подлецов — и все как бы заснуло. А подлецы пользуются этим. Они бесчестят нас, изгнанных, и других оставшихся: нас делают ложными доносчиками, их иудами-предателями. Одно стоит другого. Отчего бы не постараться раскрыть глаза всем, пусть понимающий научит непонимающего, что дело идет не только о нашем оправдании, а о более видимых результатах, которых упомянуть я не намерен. Скажу только, малейший из них есть искоренение глупого убеждения, что, для поддержания начальства, необходимо, чтобы старший был прав всегда. А этому везде веруют, как тому, что бог един. И какой глупый предрассудок, как будто власть не выигрывает, если она уничтожает в себе злоупотребления.

Я наверное не знаю, что против нас именно умышляют подлецы, для которых необходима кажется наша потеря, чтобы правда не всплыла наверх. Они уверили себя, что тогда никто и не подымет голосу для обнаружения их гнусностей. Они ошибаются — правда не застаивается надолго.

Ах, мой друг, какое ужасное насилие всему, чем только дорожит человек, я встречал везде. Я начал его курсом гимназии, продолжал Институтом и Академией, продолжаю и теперь. Пусть говорят, что по Вышнеградскому[8], насильное действие требует сильное воздействие (чепуха!) и что, как выражаются, мой скверный характер требует этого, но зачем-же я вижу тоже и на всех других. Или все требуют сильного воздействия? Ты, как педагог,



ПИСЬМО И. И. ПАРЖНИЦКОГО К Н. А. ДОБРОЛЮБОВУ ОТ 22 АВГУСТА 1856 г.
ПЕРВАЯ СТРАНИЦА
Институт Литературы, Ленинград

реши этот знаменитый вопрос и собери братьев педагогов и напишите мне, только пожалуйста скорее, а то пока вы соберетесь... [4].

4

22 августа 1856 г.
Тусьбю

Мой друг, Николай Александрович, благодарю тебя за твою дружескую откровенность. Как жаль, что наша искренняя беседа ограничивается только нами тремя; я старался всегда, чтобы в ней приняли участие все, но негодная леность, как вижу, сильнее всех стараний. Но и тут леность опять мешает сбросить кору невежества. — К вам писал Михайловский, что ему выдали кормовые и проч., но этому не верится. Эту невинную ложь продиктовало ему его благородное сердце; ему казалось, что Димитрий [Щеглов] со вредом для здоровья трудится, чтобы помочь ему и брату Егору, и потому желал успокоить его, выдумав небывалые счеты. Надо тебе знать, мой друг, что иногда по целым годам не выдают фельдшерам ни жалованья, ни провианта. Я уже давно требовал жалованье, но мне доселе не дают и едва через три месяца получу. Вот вам пример, и никто ведь не виноват, потому что на представление по этому делу выходит больше бумаги, чем стоит жалованье.

Я теперь нахожусь при госпитале военновременном Тусьбюском, и я уже тем много выиграл, что не считаюсь под начальством Агеенки [5]. Вот самые рельефные черты, по которым составилось понятие о здешнем госпитале и об Агеенке: состоит госпиталь из нескольких деревянных наскоро выстроенных домов, кругом его видишь лес только, даже деревень нету. Характер госпиталя имеет решительное влияние на госпитальный высший штат, и выражается тем, что они не живут розно, и что главный не считает для себя унижением играть в карты с ординатором, или подать ему руку при встрече. В Тавасттусе было совсем иначе: там главный доктор, кот[орого] звали исчадие сатании или просто кривым чертом, а офицеры Китайским мандарином (его отношения к тем и другим оправдывали оба названия) был качеств богоподобных, т. е. ничем необъяснимых. Ленив как осел, совершенный невежда в хирургии и химии, он любил всего больше распространяться об этих предметах и выдумал оригинальный способ предохранения от смерти, — как скоро в палате умирал больной, он фельдшера под розги, в полной уверенности, что смертность уменьшится. Или если он рассержен был чем-нибудь дома, то на спинах подчиненных нижних чинов отзывался гнев его. Да еще как сильно. Один ординатор резался, другой хотел повторить тот же опыт на самом мандарине; один фельдшер повесился, другой и третий были одного мнения с вторым ординатором. Как же уцелел мандарин? — Ординатор раздумал, что у него есть дети и жена, фельдшеров усовестили и посадили под арест. Не правда ли, что и в мирном Тавасттусе Шекспир нашел бы для себя героев. Но я не Шекспир, и потому ограничусь этим кратким очерком моего героя — начальника бывшего.

Прощай, мой друг, до свидания, твой Игнатий

P. S. И забыл сказать тебе, мой добрый Николай, что денег мне не нужно; я успел довольно заработать, и теперь еще чувствую мой карман не порожним.

Kochany Sciborsky, ja Cie o tyle znam i pewny iestem w twey szlachetnosci, i tak ze miloby mi bylo rozmawiac z toba iak z bratem blizkiem swemu sercu. Dla tego prosze cie pisz do mnie bez osobliwych grzecznosci bez dobawki Pana. Kontent, jestem, no zaszly z nami wypadek dal mi zrecznosc, odebrac nowe dowody, slachetnych uczuc mych przyjaciol bo

Н. А. ДОБРОЛЮБОВ
Фотография 1859 — 1860 гг.
Институт Литературы, Ленинград

cos moze byc przyjmnieszego nad upewnienie, ze sa «ludzie», których, szanowac kochac mozna nie wstydzac sie. A wiec prosze cie óswiadcz wszystkim dobrze myslacym me bratnie uscisnienia z takim serdecznym uscisnieniem z jakim ja bym sam to uczynial. I tak caluje was wszystkich kollega przyjaciel Ignacy.

P. S. Moj adress tenze co i wpvzòdy s ta roznica ze napisac... Wrecz prosze cie braciom listy tu dolaczone i powiedz im ze czekam od nich listu.

Перевод:

Дорогой Сциборский, поскольку я знаю и уверен в твоем благородстве, мне было бы приятно разговаривать с тобой как с братом, близким сердцу. Поэтому прошу тебя, пиши мне без особых вежливостей, без обращения «пан». Я доволен: известный случай дал мне возможность собрать доводы благородных чувств своих приятелей, потому что что может быть приятнее, чем уверенность, что существуют люди, которых можно уважать и любить без стыда. И, наконец, просим тебя, передай всем, «хорошо мыслящим», мои братские объятия, такие сердечные объятия, какие я только могу себе представить. Итак, целую вас всех. Товарищ и друг Игнатий.

Мой адрес тот же, что и раньше, с той разницей, что надо писать... Вручи, пожалуйста, братьям прилагаемые здесь письма и скажи им, что жду от них письма.

Kochany Sciborski, smutno ze teraz tak trudno dostac ekcii dla mnie to iest perspectywa nie pocieszaiaca nadal. Ale moze byc da zimie kiedy sie zjada z dacz i z zagranicy (byc moze), to i znajdzie sie mi tam, iaka lekcia dla nakarmienia mego brzucha. Bieda to nasza, ze od tego obowiazka, odzwyczaic sie nie podobna. Sciskam cie moj drogi collega Ignacy. Kochany Panie Turczaninow, dziekuje Panu za pare slowek, zawsze to iest dowodem, ze pan nie zapomina o prawdziwie szczerym dla was wszystkich colledze. Ignacy.

Перевод:

Дорогой Сциборский, очень жаль—сейчас так трудно достать урок; для меня впредь это не утешительная перспектива. Но может быть зимой, когда съедутся с дач и из заграницы (может быть) и найдется какой-нибудь урок для накормления моего желудка. Наше несчастье, что мы не можем отучиться от этой потребности. Обнимаю тебя, мой дорогой товарищ. Игнатий. Дорогой пан Турчанинов, благодарю за пару слов: для меня это всегда доказательство, что Вы не забываете об истинно-искреннем для вас всех товарище. Игнатий.

56

Мой друг, Николай Александрович, не сердись, если это письмо будет слишком скучно; виноват не я. Надобно же меняться мыслями, а мне теперь решительно не с кем, с тех пор как уехали оба мне знакомые ординатора; как будто на свете только я, да уродливые, чахлые, чухонские сосны. Я удивляюсь нелепости преподобных аскетов, отказавшихся от жизни, от деятельности, за тем, чтобы прозябать без цели, без пользы для людей, veluti pecora sompo atque ventri obedienta[7]. Вообрази же, что и я осужден теперь заниматься исправлением моего здоровья, подобно преподобным. Живу в келье один, среди лесу, два раза в сутки хожу в госпиталь, где делать решительно нечего; брожу потом по лесу и по берегу озера, которые удивляют своим скучным однообразием — и везде один, ни с кем ни слова. Потому что если встречаюсь с чухною, то это все равно, что с пнем или сосной; от него никак больше не добьешься, чем «еюмера» — не знаю. Это самый блестящий ответ чухонца, как ни бейся. Одно только меня радует, что не вижу пакостной рожи Агеенка. Хочешь ли я тебе начерчу ее? Морда у него круглая, заплывшая жиром, продольные ее линии короче поперечных, как будто природа в сердцах на неудавшийся модель прихлопнула его сверху лопатой. Лоб необыкновенно низкий с густыми черными сходящимися неправильной дугой бровями, что не слишком рекомендует его умственные способности; за то ширина или лучше растяженность лба хорошо обрисовывает тигриные его наклонности. Прямо из бровей выдвигается

маленький, вздернутый, кривой носик, который внизу ограничивается толстыми, широкими устами. Прибавь к этому китайские усы и маленькие, серопепельные глазки, с необыкновенно малыми ресницами, как у змеи, то увидишь пред собою желанное лицо. Глаза то ты не увидишь, того злобного выражения, той плутовски-хитрой улыбки, которые запечатлелись на лице его.

Если бы ты мог видеть выражение лица Мефистофеля в ту минуту, когда он напоминает в темнице Фаусту, что пора, уже светает, но только стереть с чела его все могущественное, умное, ты бы увидел Агеенку.

Я сказал тебе, что имею одну отраду — не видеть хромого Агеенка, но эта ошибка. Гораздо отраднее видеть быт здешних мужичков. Они не считают себя отверженными париями, эполет не боятся и, стоя пред ними в шапке, протягивают им руку, здороваясь; не то как у нас за полверсты бедный мужичок ломает шапку, и с высшим забывает даже что и он создание божье, что мы родные сыновья Адама (не ссылаюсь на естественные науки). Мне случалось часто приходить с ними в близкое столкновение, знакомиться, бывать на вечерах у них, где бывали и эполеты; и потому расскажу тебе хоть часть из сделанных мною наблюдений. Извини, мой друг, почта на носу; итак до следующего письма, а что еще лучше, может быть, до следующего свидания. А так как нам прогонов не выдадут, то во всяком случае надо будет еще раз разорить братью, увы. С высылкой билетов за подписью Хованского поспеши, чем скорее тем лучше. Поцелуй всех добрых товарищей, и в особенности больного Львова. Прощай и пиши.

Твой Игнатий

Передай присовокупленные письма.

6

Тусьбю 25 сент[ября] 1856 г.

Мой друг, Николай Александрович, сегодня я получил письмо с деньгами от тебя и сегодня прислали бумагу об нашем увольнении. Вообрази себе мою радость; наконец я обниму вас всех, друзей моих.

Мой друг, если ты любишь истину и желаешь ей успеха, не уезжай из Петербурга. Делай, что хочешь, бей Ваньку, переходи в Университет, но только не уезжай [8]. Неужели гадкая судьба будет все разгонять дружеский наш кружок, и мы всегда веселясь и беседуя должны посвящать печальное воспоминание одному недостающему; а ведь нас так мало. Как бы было отравлено первое наше свиданье мыслью, что я должен терять одного из лучших благородных моих друзей. Итак до свидания, весьма скорого. Я завидую птицам и проклинаю Клейн-Михелей, что у нас нет еще железных дорог.

Целую тебя.

Игнатий

P. S. Я к вам буду недели через две, потому что придется ждать Михайловского сюда в Тусьбю, а когда он приедет? — Я думаю, он не замедлит. Тусьбю лежит в 28 верстах от Гельсингфорса. — Сюда присоединяю письмо, писанное накануне, единственное потому, что мне кажется, что я тебя не застану в Петербурге. Я помню еще плутни Давыдова и доверенность к нему министра, и почти уверен, что трудно тебе успеть. Но дай это возлюбленная fatum! *

---

* Судьба. [Р е д.]

79

Казань 30 августа 1857 г.

Мой друг, Николай Александрович, я вполне разделяю твои чувства, нельзя не негодовать на маловерие малодушное; поневоле овладевает душой негодование при мысли, что бессмысленный сплетник в состоянии уничтожить согласие и доверие между людьми, для коих первым условием деятельности должны быть совершенная уверенность во взаимной честности и благородстве поступков. И это делается, когда мы друг у друга еще на глазах почти, когда свежи в памяти характер и образ действий каждого; а что же будет после? Да тяжело, мой друг, вспоминать, а тем более выслушивать требования объяснений, отзывающиеся подозрением честности. Сознаюсь, что всякое хладнокровие и терпеливость должны тут лопнуть: тут видишь не одну личную обиду, а невозможность положиться на людей, которым хотелось бы доверять даже больше, чем самому себе, если это возможно. Как ни больно, а должно сознаться впрочем, что от некоторых и должно было ожидать этого малодушия; но я удивляюсь, что сюда замешался Сциборский, в которого преданности доброму началу я совершенно уверен. Этой слабости я не ожидал от него, и не потому, чтобы надеялся слишком на твердость его духа и воли, но потому, что много рассчитывал на теплоту его чувств. У нас есть два экземпляра Сциборских, только настоящий экземпляр в иных отношениях ещё слабее; т. е. увлекается еще легче и сильнее насказами и чужою увренностью, в особенности в деле щекотливом, касающемся нарушения чести повидимому по воле в деле, требующем анализа верного. Его пугливую натуру легко сполошить можно, но все же мне живы в памяти его исступленно-самоотверженные порывы к добру, за которые нельзя не любить его благородной души, как бы она ни заблуждалась. Правда, что это были только слова пока, но в них столько искренности, что нельзя не надеяться и на тождественность действий. Я люблю, мой друг, этот жар чувств, и не лежит мое сердце к слишком расчетливой обдуманности, подобной Димитрию <Щеглову>: от нее пахнет такою могильною холодностью чувств, что поневоле подумаешь: тут уже все лучшее перепрело, или тут столько эгоизма, что от него не жди много добра. А согласись сам, как иногда трудно бывает судить о поступках других, а иным истинный их смысл и вовсе закрыт. Оттого другим даже непонятно, как в самом грязном деле можно сохранить все благородство души, но в этом-то и состоит тот закал ее, помощью которого мы можем достигнуть всех лучших наших целей. Избегнуть всех столкновений мы не можем да и не должны, а если не сумеем обращать их нашу, а следовательно и нашей цели [Sic! — *С. Р.*], не будучи в то же время причастны грязи, то мы будем только жалкими глашатаями без действий в роде тех пустомель, которые трубят заученные ими фразы и мысли встречному и поперечному. Когда увидишь людей, провинившихся и в отношении тебя и в отношении нашей общей идеи о благородстве, когда они сознаются в ошибке своей, то втолкуй им пожалуйста в головы их слова правды, для предотвращения подобных пошлостей; потому что сколько ни пиши, а все-таки больше высказать можно.

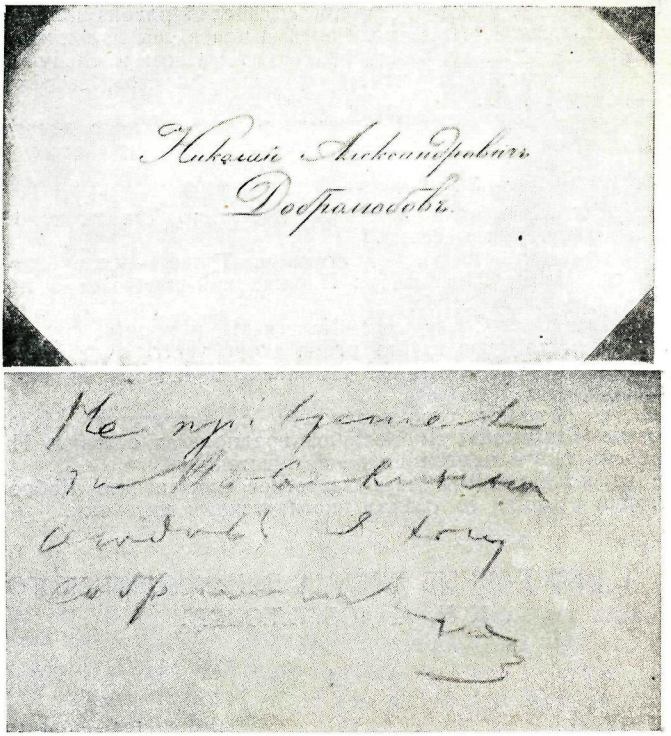
Я ждал здесь Шемановского, но дождаться не мог. Из Института не получил ни словечка, и не знаю разъехались ли наши или еще существуют в Питере, но на всякий случай я им посылаю чрез Воронова письмо, в котором по твоему желанию и намека не делаю о происшедшем.

Извини друг, что промедлил так долго с ответом, но это потому, что получил твое письмо я в самые критические минуты — во время приготовления к дополнительному экзамену из анатомии, а после безденежье было,

так и прошло время; собравшись-же написать увидел, что поздно в Нижний писать, ну так стал ждать, пока в Питер пора будет.

Пожалуйста напиши мне подробно, кто, как и на чем остановился каждый из нашей братьи — надо-же знать, с кем дело имеешь: я их знал два года назад, а их лета были таковы, что в эти два года характер многих должен был измениться или лучше проявиться, так как у иных его еще и вовсе не имелось. Пробужденные чувства под влиянием комфорта и устанавливающейся карьеры могли уснуть совершенно.

Радуюсь, мой друг, что твои семейные дела улучшаются, даже готов бы завидовать, если бы это возможно было; а мои семейные все более запу-



ВИЗИТНАЯ КАРТОЧКА Н. А. ДОБРОЛЮБОВА
С ЗАПИСКОЙ А. Н. ПЫПИНУ НА ОБОРОТЕ
Институт Литературы, Ленинград

тываются, так что даже и присылаемых писем читать не хочется — ведь сожаленьем не поможешь, так надо же крепить сердце и выжидать времени.

Напиши пожалуйста, куда к Бордюгову писать, неужели все в Змиев. Спешу, прощай и пиши поскорее.

Твой Игнатий

ПРИМЕЧАНИЯ

Печатается впервые полностью по автографу ИРЛИ (начало письма от 30 августа 1857 г. было опубликовано в биогр. очерке М. М. Клевенского, — Н. А. Добролюбов. Полн. собр. соч., т. I, 1934, стр. 16—17). Шифр: 4035. IX. Княжнин, № 207.

Письма Добролюбова к Игн. Иос. Паржницкому неизвестны. Таким образом единственным документом их отношений являются публикуемые письма Паржницкого. Из них мы узнаем о характере и темах переписки друзей в 1855—1857 гг. Общий же облик Паржницкого вполне совпадает с той его характеристикой, которую читатель найдет в публикуемых в настоящем томе воспоминаниях

М. И. Шемановского. Особенно справедливым представляется определение Паржницкого как «социальной клеточки», вокруг которой естественно начинают образовываться идеи социального протеста. «...Он значительно укротился против прежнего, — писал о нем Добролюбов 12 сентября 1858 г. М. И. Шемановскому, — но все-таки он моложе сердцем, он более полон надежд и энергии, чем мы с тобой и с Ваней Б<ордюговым>. Это значит, что на нем не легла мертвенная апатия русского крепостного народа, как легла она на нас всех». («Материалы...», стр. 463). И. Г. Ямпольский полагает, что, «описывая в статье: «Когда же придет настоящий день» жизненные испытания одного из «русских героев», Добролюбов заимствовал кое-какие факты из биографии своего товарища И. Паржницкого» (См. Н. А. Добролюбов, Полн. собр. соч., т. II, 1935, стр. 230—231 и 683. Ср. также описание «истории» с Паржницким в «Послании к С. П. Галахову», 1857 г. Собр. соч. под ред. Аничкова, т. IX, стр. 15—18).

Биографические данные о Паржницком, кроме сообщаемого Шемановским, неизвестны. Он не вошел даже в словарь «Деятелей революционного движения» изд. О-ва политкаторжан. Публикуемые письма кое в чем пополняют этот пробел

[1] Датируем июлем 1856 г. по связи с предыдущим и следующим письмами и на основании упоминания о скором, «раньше августа», закрытии госпиталя. Incipiam a te — начну с тебя.

[2] Е. В. Пеликан (1823—1884) — директор медицинского департамента.

[3] Н. А. Вышнеградский (ум. 1872)—педагог, профессор механики Гл. Пед. И-та.

[4] Окончание письма не сохранилось.

[5] Непосредственный начальник Паржницкого по Тавастгусскому госпиталю лекарь Наум Никифорович Агеенко.

[6] Как ясно из текста, письмо написано из Тусьбю после 22 августа, но до 25 сентября. В письме от 25 сентября Паржницкий извещает о получении просимых в настоящем письме денег.

[7] Неточная цитата из Саллюстия: «Как скоты, покорные сну и чреву». В подлиннике: «veluti pecora quae natura prona atque ventri oboedientia finxit», т. е. «как скоты, которых природа создала склоненными к земле и покорными чреву» («De conv. Catil.»).

[8] В связи с частыми столкновениями с директором Педаг. Института И. И. Давыдовым («Ванькой») Добролюбов предполагал оставить Институт и перейти в Университет; это намерение не осуществилось.

[9] Письмо является ответом на неизвестное нам письмо Добролюбова с изложением истории разрыва со своими институтскими друзьями.

VI. НЕИЗДАННЫЕ ПИСЬМА Б. И. СЦИБОРСКОГО К Н. А. ДОБРОЛЮБОВУ

1

[24 июня 1856 г.]

Николай Александрович![1]

Неожиданною новостию порадую тебя: — право, не знаю, как сказать тебе о ней, — мне кажется, что всего лучше просто сказать тебе правду, что я потерял данные тобою деньги с письмом к Михайловскому. Я понимаю все неприятные последствия от моей неосторожности и рассеянности— бедный Михайловский лишается на некоторое время возможности иметь деньги. Я вчера целый день проходил по знакомым, надеясь взять взаймы, но в этом не успел; обещали впрочем после 1-го числа одолжить некоторое количество. Теперь я, право, не знаю, что мне делать, нет у кого попросить совета. Если б ты имел время, то я надеюсь не отказал бы моей просьбе зайти в Институт завтра по утру, тем более, что от Игнация получено к тебе письмо, которое я хотел переслать вместе с этою запискою; но боюсь, чтобы не потерялось где-нибудь на городской почте.

Львов просит тебя достать ему: «La verité sur l'empereur Nicolas»[2].

Сциборский

Н. А. ДОБРОЛЮБОВ
Фотография 1860 г.
Институт Литературы, Ленинград

2

$$18\frac{\text{VIII}}{26}58^{3}$$

Аракчеевка

Я надеюсь, ты, Николай Александрович, извинишь меня за то, что я перед отъездом не зашел к тебе проститься, — ведь мы увидимся еще не один раз. Я не могу однако ж быть спокойным, не поблагодарив тебя за твою дружескую помощь, которую ты оказал мне в самое трудное время моей жизни. Я уверен, что ты сделал это добро для меня не для того, чтобы слышать от меня благодарность, а единственно по влечению твоей благородной натуры; но выразив словом свою благодарность, я хочу сказать тем только то, что ты сделал добро человеку, который способен чувствовать и ценить его, чувствует его теперь и готов всегда служить тебе всеми силами во всех твоих добрых начинаниях. Пожалуй, кто-нибудь назовет эти слова фразою, но в этом случае мне до других дела нет: я желаю одного, чтобы ты понял слова эти так, как я их чувствовал, и чтобы ты не колебался, если представится возможность доставлять ее мне для оправдания моих чувств на факте. Переходное мое состояние из-за скамьи в жизнь [sic!—*С. Р.*] было для меня страшным испытанием, которого я, может быть, не выдержал бы и был бы принужден в крайности пойти по такой дороге, которая привела бы меня к совершенному ничтожеству во всех отношениях: ты дал мне средства поддержать силы свои до благоприятного времени, когда мне представился случай определить свое положение, и тебе я этим обязан более, нежели кому-нибудь, твоя услуга для меня имеет значение жизненного вопроса.

В Аракчеевке пока мне очень хорошо; кажется, что я на долгое время, если не навсегда, останусь здесь. Замечательное явление: начальство в кор-

пусе, можно сказать, очень хорошее: все народ более или менее образованный, современный и, как кажется, полезный. — Не знаю, что сказать о кадетах; хотя я имел у них уже более 20 лекций, но не составил еще ясного понятия о них; мальчики живые, но, кажется, очень мало развитые — учителя — народ порядочный — люди все молодые.

Спешу кончить письмо, хотя хотелось бы потолковать с тобою подольше, — оставляю до другого случая, когда надеюсь отнять у тебя больше дорогого для тебя времени. Отсюда уезжает в Питер некто Хорошевский студент Университета и чрез него посылаю сие письмо извещательное.

Позволь уверить тебя в моей совершенной преданности к тебе, как я уверен в твоем добром расположении ко мне и остаться твоим Борисом Сциборским.

Свидетельствую мое глубокое почтение Василью Иванычу. Михалевский и Караваев кланяются тебе [4].

Адрес: В Новгороде. Напиши несколько слов, пожалуйста, если позволит время.

3

Дорогой мой Николай Александрович! [5]

По обыкновению вежливых Аракчеевцев, я хотел начать письмо к тебе тонкими извинениями в долговременном моем молчании, да вспомнил, что ты подобную ерунду не с большою охотою читаешь, а я всякую дичь не имею особенного усердия писать — потому начинаю с дела, т. е с рассказа о своем житье-бытье. Но что-ж тебе сказать? Говорят, что счастливые не могут наблюдать над собою и размышлять о своем счастии. Я совершенно счастлив своим положением, и поглощен чувством удовлетворения лучших моих стремлений; уменье высказаться в этом действительно во мне исчезает. Впрочем наш дорогой Вася кой-что скажет тебе о нашей жизни. Вообще мы устроились хорошо: хозяйственное обзаведение у нас почти в совершенстве; все главное обдуманно заготовлено и избавляет нас на долгое время от хлопот в этом отношении. За то капиталов вовсе не имеется; у нас точно в Аркадии, не слышно звука презренного металла. Да впрочем это еще не так-то большое горе: долги маленькие уже мы начали выплачивать, а со временем выплатим и большие, — так что к лету немного останется за нами. Как видишь и в этом отношении положение наше еще не так безотрадное, — говорю — н а ш е, потому что я теперь стал вдвое важнее и привык слышать и говорить: м ы, н а с и проч. — Ну-с, каково тебе живется? Спасибо тебе от искреннего сердца за твое письмо, — ты меня не забыл, хотя сам и не приехал на нашу свадьбу. Впрочем на свадьбе у нас никого и не было из приезжих; сыграли мы эту штуку весьма скромно, даже употребили некоторые старания, чтобы не придать ей какой-нибудь торжественности. Писал бы тебе побольше да времени не хватило и притом что-то нездоровится. До свидания, мой лучший друг. Будь счастлив. Кланяется тебе моя половина. От меня ты поцелуй добрейшего Василия Ивановича и скажи ему, что я блаженствую; поцелуй и милого Володю. Поклонись еще Терезе Карловне и Николаю Михайлычу, а также и Борзаковскому, если только увидишь его.

Прощай, мой друг.

Твой навсегда Борис

Как поживает Карл Иваныч? поклонись ему от меня [6].

ПРИМЕЧАНИЯ

Печатается впервые по автографу ИРЛИ. Шифр: 2030. IXс. Княжнин, № 202.

Письма Добролюбова к Б. И. Сциборскому опубликованы в «Материалах...» (стр. 383, 412 и 534). Дата второго письма (стр. 412) вычислена Чернышевским неверно. Оно относится к августу или началу сентября 1857 г. Это ясно из сопоставления с датой публикуемого в настоящем томе письма И. Паржницкого к Добролюбову от 30 августа 1857 г. (см. стр. 338 наст. тома).

[1] На л. 2 об. адрес: «Его благородию Николаю Александровичу Добролюбову. Студенту Гл. Пед. Института. На Вознесенском проспекте в д. Шклярского, на квартире г. профессора Срезневского». Почт. штемпель городской почты: «1856 г. июня 24».

[2] Автор упоминаемой книги Н. И. Сазонов. Точное ее заглавие: «La vérité sur l'empereur Nicolas. Histoire intime de sa vie et de son règne. Par un Russe. Paris. 1854». В. Львов — товарищ Добролюбова по Пед. институту.

[3] В датировке письма описка. Оно относится не к 1858, а 1859 г.— ответом на него является письмо Добролюбова, написанное в сентябре 1859 г. («Материалы...», стр. 534). Аракчеевка—Новгород. Б. И. Сциборский по окончании Института был определен преподавателем Новгородского Аракчеевского кадетского корпуса.

[4] Хорошевский Владислав Юлианович (ум. 1900)—студент СПБ. университета; подробный очерк его см. у Л. Ф. Пантелеева: «Из воспоминаний прошлого». «Academia», 1934. Редакция и примечания С. А. Рейсера.

Василий Иванович — Добролюбов, дядя Н. А., живший в это время с ним вместе. В. М. Михалевский—студент СПБ. ун-та—приятель Н. П. Турчанинова, также преподаватель Аракчеевского кадетского корпуса. Караваев,— может быть, инспектор классов корпуса, подполковник Г. П. Кузьмин-Караваев? О знакомстве его с Добролюбовым нам ничего неизвестно. Это лицо было неизвестно и Чернышевскому при его работе над «Материалами...» (ср. стр. 536).

[5] Датируем концом 1859—началом 1860 г., так как в письме речь идет о недавнем браке Сциборского. О браке, о приезде в Петербург в декабре 1859 г. и о разговорах с Добролюбовым на эту тему см. в публикуемых в настоящем томе воспоминаниях Б. И. Сциборского.

[6] Василий Иванович — см. выше, примечание 4-е.

Володя — брат Н. А. Добролюбова.

Тереза Карловна — Гринвальд, с которой Добролюбов некоторое время был в связи.

Николай Михайлович — повидимому, Михайловский — институтский товарищ Добролюбова и Сциборского.

Вл. Борзаковский — то же.

Карл Иванович — Вульф, владелец типографии, в которой в те годы печатался «Современник».

VII. НЕИЗДАННОЕ ПИСЬМО Н. П. ТУРЧАНИНОВА К Н. А. ДОБРОЛЮБОВУ

Лович 13/25 мая 1859 г.

Николай Александрович!

Несколько дней тому назад получил я письмо от Михалевского [1], в котором он извещает меня, между прочим, что Вы предъявили свое горячее участие ко мне, — и как-то неловко мне сделалось при этом известии. Не верить этому, не было основания, а верить... вот тут-то именно я и поставлен был в весьма затруднительное положение: борьба чувства доверенности с сомнением необходимо должна была вызвать ряд светлых и мрачных воспоминаний из прожитой нами вместе жизни; при этом раскрылись передо мной наши, когда-то тесно дружеские отношения, а потом и печальное время нашего разрыва, с которым я до сих пор не мог примириться, и всякий раз воспоминание об нем возмущает все внутреннее мое существо...

Словом известие Михалевского весьма встревожило тихую, спокойную (по крайней мере по видимому) мою жизнь. К счастию, через несколько дней почтальон принес мне письмо, адресованное Вашею рукою. Этого было для меня уже слишком много. Не знаю по какому-то странному чувству, я несколько приостановился, распечатать ли письмо, или нет. Во время этого колебания печать была сорвана и письмо прочиталось с судорожным вниманием. После того прошло еще несколько дней.

Не отвечать Вам я не мог по одному даже приличию, так что Ваши опасения (которыми Вы кончили Ваше письмо) едва ли имели основание [2]. Но дело в том, что содержание Вашего письма, как будто, настоятельно требует ответа. Что же мне приходится сказать Вам? Признаюсь, что я весьма затрудняюсь в этом. Вы предлагаете мне, по моем приезде в П. Бург, личное, откровенное объяснение. Прекрасно! Но на беду проектированная моя поездка в П. Бург подлежит весьма большому сомнению.

Как хотите, одно место в Вашем письме, без дальнейшего отлагательства, вызывает меня на объяснение. Вы признались виноватым в том, что «по мелкому самолюбию и гордости не хотел с Вами (т. е. со мною и Александр[овичем]) объясниться, как следует» (Ваши слова). Допустим, что признание Ваше совершенно правдиво. Но, Милостивый Государь, позвольте предполагать в Вас побольше любви вообще к человеку, позвольте думать, что эта любовь к человеку не должна была уступать место какому-то безграничному эгоизму. Я так сужу на основании Вашего образа мыслей, с которым я так хорошо был знаком. В приведенных мною словах из Вашего письма я не вижу иного смысла, кроме следующего: Александрович и я, оба мы были в Ваших глазах так низки, так ничтожны, что не заслужили ничего, кроме Вашего презрения. Согласитесь, что Вашим поступком Вы значительно должны были усилить наши подозрения, которые, очевидно, должны были превратиться в полную уверенность. Неужели Вы были столько невнимательны, что не заметили, как сильна была моя привязанность к Вам, как глубоко было чувство уважения, которым я был проникнут. Неужели Вы предполагали, что поступок Ваш не произведет сильного впечатления. Трудно допустить подобное. Следовательно, за что же Вы подвергли человека (который будто бы оставил в Вас «самое светлое и чистое воспоминание») тяжкому внутреннему истязанию. Еще слишком хорошо памятно для меня это время. Известие о получении мною младшего учителя [3], конечно, весьма неприятно поразило меня, но, если Вам угодно знать, оно ничтожно было в сравнении с тем впечатлением, которое произвел на меня Ваш поступок. Не одна ночь в то время проведена была мною без сна; и это не все: я шатался, как потерянный, совершенно без всякой цели, бог знает куда и зачем; но, что всего ужаснее, я потерял всякую веру в человека, и сделался до крайности подозрительным к людям, что во всей силе продолжается до настоящего времени.

Читая эти строки, может быть Вы найдете несколько странным мое признание. Как хотите, судите обо мне. Не думайте однако ж, что я высказался так откровенно с какою-нибудь особенною целью. Сказанного мною здесь оказалось совершенно мимовольно. [Sic! — *С. Р.*] Никто не слышал от меня ничего подобного: на Вас выпал жребий выслушать мою сердечную боль, правда прошлую, но еще не вполне утраченную.

Напрасно Вы, Николай Александрович, предлагаете мне справиться о Вашей честности у Николая Гавриловича и Кавелина, к которому я не имел никогда никакого отношения [4]. Поверьте, что я, если не лучше, то во всяком случае не хуже знал Вас во всех отношениях и умел ценить Вас. Следовательно я не имею никакой нужды наводить справок, и если со временем объяснится (если уже не объяснилась) вся несправедливость возведенного на Вас подозрения, то Ваши бывшие приятели должны будут отдать

Вам строгий ответ; если же не объяснится, то время нашего окончания курса будет нуждаться в оправдании с Вашей стороны. Оставляю в покое одно место в Вашем письме, хотя и следовало бы кстати коснуться. Опускаю потому, что объяснение мое необходимо должно было бы обнаружить некоторые вещи, не совсем чистые. Вы, конечно, догадываетесь в чем дело[5]. Мне остается благодарить Вас за те Ваши чувства, которые выражены были ради еще не забытой нашей дружбы, которой свято был верен.

Н. Турчанинов

Потрудитесь передать искреннее мое почтение Ольге Сократовне и Николаю Гавриловичу, которому вместе с тем объявите мою глубокую благодарность за его участие ко мне.

С Александровичем я не переписывался и не переписываюсь. Вот его адрес: «в Сувалки (Августовск. губ.). Учителю Гимназии». Интересно знать, получил ли Ник. Гавр. от меня страховое письмо, посланное 1-го мая (по русск. стилю).

ПРИМЕЧАНИЯ

Печатается впервые по автографу ИРЛИ. Шифр: 2031. IX с. Княжнин, № 203.

Настоящее письмо важно для одного из моментов биографии Добролюбова — примирения с товарищами по Педагогическому институту после разрыва в 1857 г. (см. стр. 317 наст. тома); письмо это по неизвестным нам причинам не было напечатано Чернышевским в «Материалах...», хотя, очевидно, и было в то время в его распоряжении. Письмо восполняет отсутствующее звено в переписке прежних друзей и делает понятными письма Н. А. к Турчанинову. Настоящее письмо — ответ на письмо Добролюбова от 26 апреля. Добролюбов в свою очередь ответил на письмо 11 июня. (См. «Материалы...», стр. 503 и 515).

[1] О Михайловском см. примечание 4-е на стр. 343.

[2] Добролюбов кончал письмо словами: «Надеюсь, что Вы это одолжение <поклон Александровичу> сделаете мне и в том случае, если сами не захотите отвечать мне». («Материалы...», стр. 505).

[3] Турчанинов был выпущен из Института со званием «младшего учителя».

[4] Добролюбов писал: «Спросите... у кого нибудь из тех, кого Вы уважаете, и кто меня знает, например у Чернышевского, Кавелина. Их отзыв не будет против меня...» («Материалы...», стр. 505).

[5] Повидимому, речь идет о Щеглове, писавшем в свое время Турчанинову и Пажницкому о том, что Добролюбов «вошел в дружбу с генералами, с бароном Корфом... подделываясь под их образ мыслей, сочиняет статьи, в которых ругает нашего общего любимца из Вятки <Герцена> и его образ мыслей и что для вящего позора подписывает под такими статьями имена своих товарищей — именно Турчанинова и Александровича» (из письма к Шемановскому от 12 сентября 1858 г. «Материалы...», стр. 464—465).